

[Polaris]

ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ



МЕРТВЫЙ
ЖЕННА

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СССХСІV



Salamandra P.V.V.

Георгий
ЧУЛКОВ

МЕРТВЫЙ ЖЕНИХ

Собрание
рассказов

Salamandra P.V.V.

Чулков Г. И.

Мертвый жених: Собрание рассказов. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2021. — 250 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCXCIV).

Виднейший литературный деятель Серебряного века, поэт, прозаик, критик, мемуарист, редактор альманахов и журналов, литературовед, революционер, создатель учения о «мистическом анархизме» и возлюбленный А. Ахматовой и Л. Д. Блок — все эти определения равно справедливы в отношении Г. И. Чулкова (1879-1939). В этой книге Чулков предстает как мастер мистической прозы — от ранних ультра-символистских миниатюр до поздних переделок «Золотой легенды» Иакова Ворагинского. В сборник включен также своеобразный цикл рассказов о людях, волей судеб оказавшихся в гуще революционных потрясений XVIII-XX вв.



МЕРТВЫЙ ЖЕНИХ

КОЛОННЫ

Сии облеченные в белые одежды
кто и откуда пришли?

Откровение св. Иоанна, 7 гл. 13 ст.

На колонны с коринфскими капителями падал безумно-красный свет. А среди колонн стояли облеченные в белые одежды.

И никто не знал, кто это и откуда они пришли. Почему веет ветер? Почему дрожат звезды? Почему пролилась кровь?

И не все ли равно, будет ли сияние или тьма?

Ах, не задавайте пыльных вопросов!

Когда люди, облеченные в белые одежды, поднимают кверху руки, на их пальцах зыблются розовые пятна; одежды их похожи на паруса.

И мы вспоминаем о белокрылых чайках.

Кроваво-черные облака, за которыми миллионы бездн, распростерлись над нами, как щиты.

А среди колонн стояли облеченные в белые одежды и молились богу, скрывшему лицо свое.

Колонны, колонны! Кудрявые капители с лилиями! Полуоткрытые уста мраморных цветов!

И золотые, и кровавые отблески...

А там напряженные мускулы бронзовой мужской руки, розовато-алебастровое женское плечо и пухлая шейка ребенка.

Все переплелось: костлявый остов старика и упругая линия юноши, кудри и красные пятна, бессильно-сломанные тела, гибкие формы...

А среди колонн облеченные в белые одежды поднимают кверху руки, и на пальцах их зыблются розовые пятна.

СЛОВО

Люди, одетые в черное, пришли и связали мне руки. Проклятые! Толстыми, грубыми, шершавыми веревками они сорвали кожу с кистей моих рук и прикрутили их назад так, что правая и левая руки возненавидели друг друга, потому что всегда они были вместе и им нельзя было разорвать невольную связь.

С этого началось.

А потом эти люди, бледные, с самодовольной улыбкой на ничтожных тупых лицах, стали вокруг меня и развернули свои длинные свитки, на которых начерчены были буквы и линии.

— Читай! — сказали они холодно и властно.

И я стал разбирать эти буквы и эти линии. Сначала я не понимал скрытого смысла их. Я видел только немые точные формулы. Но формулы только притворялись точными, ибо за ними стояло нечто большее. И это большее формулы не могли вместить в себя.

А люди, одетые в черное, повторяли:

— Читай!

И когда они говорили: читай! — мне казалось, что они издеваются надо мной и говорят: умри!

Тогда я крикнул им:

— Проклятые! Если б руки мои были свободны, я разорвал бы ваши ненужные свитки, я бы истоптал их ногами. От них пахнет смертью.

Люди засмеялись, широко раскрыв свои большие рты с острыми зубами, и развернули передо мной картину, написанную белой и черной краской. Я знал, что писали эту картину они, все вместе. На ней были изображены квадраты, а на каждом квадрате стоял человек среднего роста, самодовольный и сытый.

— А где же Слово? — спросил я.

Они строго посмотрели на меня и сказали:

— Нравственность может быть и без Него. Для этого есть квадраты.

И, так как они боялись, что я совершу безнравственный поступок и убью их, они тщательно осмотрели узлы веревок, дабы быть уверенными, что руки мои связаны.

Огромная черная птица с шуршащими крыльями пролетела у меня над головой. Я осмотрелся кругом. Далеко на горизонте лежали темные гребни гор, которые упирались своими вершинами в густое небо. В облаках плавал безумный красный месяц. Золотые Медведицы почему-то волновались и дрожали — и Большая, и Малая. И все было страшно. И все было странно.

За спиной у меня был черный, корявый лес. Я слышал крики кукушки, эти отзвуки приближающейся смерти; слышал мертвые стоны совы; слышал чьи-то вопли отчаяния...

Но страшнее всего было озеро, которое лежало впереди меня. Оно было неподвижно, как тайна, и красно, как кровь.

Я вздрогнул.

Люди в черном заметили мое смущение и сказали:

— Чего ты испугался? Это озеро, в котором мы утопили Слово.

— Я это знал, — пробормотал я, — я это знал.

О, зачем озеро красно, как кровь!

— Проклятые! — крикнул я, задыхаясь от ужаса. — Отдайте Слово! Отдайте Слово!

И страшное эхо насмешливо повторило:

— Слово! Слово!

А черные люди засмеялись:

— Ха-ха-ха! Ты наивен.

А потом прибавили, нахмурившись:

— Если ты будешь говорить о Слове, мы бросим тебя в это озеро.

Тогда я собрал все свои силы, рванул веревки и освободил окровавленные руки.

И черные люди, испуганные моей решимостью, боязливо бросились ко мне, чтобы удержать меня. Их было много, а я один. Но в руках у меня было грозное оружие: отчая-

ние и желание. И первого, кто бросился ко мне, я ударил рукой по его самодовольному лицу с кривой улыбкой. И на этом лице остался след от моей окровавленной руки.

Началась борьба.

И я заметил, что есть у меня союзница: земля. Она колыхалась под их ногами, и они падали, жалкие, ничтожные, безобразно размахивая длинными костлявыми руками.

И, оттолкнув их, я бросился бежать к озеру, а они, распростертые на земле, судорожно хватались за мою одежду и я с трудом отдирали их назойливые пальцы.

В борьбе я весь испачкался кровью. Сердце со страхом колыхалось у меня в груди. Стонал мозг. А я все бежал, бежал.

А сзади слышался визг:

— Сумасшедший! Сумасшедший!

И справа, слева лежали тяжелые, немые камни.

Камни смотрели укоризненно и укоризненно молчали.

— Что это за камни? — подумал я.

И тотчас я ответил себе:

— Это гробы.

И я засмеялся:

— Ха-ха-ха! Гробы! Ха-ха-ха!..

Мне казалось раньше, что озеро близко, но его все еще не было. Я бежал, задыхаясь, прижав кулаки к левой стороне груди, потому что чувствовал боль в сердце.

Мои мучители не поспевали за мной и издали кричали:

— Сумасшедший! Сумасшедший!

Я взглянул на нелепый красный месяц. Он смотрел прямо на меня — и так же укоризненно, как гробовые камни, и, казалось, говорил:

— Напрасно! Все напрасно!

А сверху звучало небо. Ах, какой это был гимн! Пели облака и пели звезды. И среди звезд высоким, звонким голосом пел эфир.

— Не хочу! не хочу! — бормотал я и мчался вперед. И ветер свистел над ухом:

— Вз-вз... Назад, назад... Вз-вз...

А сзади едва доносился до меня глупый визг:

— Сумасшедший! Сумасшедший!

Вот и озеро, густое и красное.

И тогда я зажмурил глаза и бросился в него. Но оно не хотело принять меня, волны поддерживали мое тело и шептали мне на ухо:

— Слова нет среди нас. Слова нет! Слова нет!

Я понял, что это правда, и поплыл на тот берег.

А на том берегу опять лежали мертвые камни, бродили какие-то серые тени, шуршали крыльями темные птицы, — и все шептало, как месяц:

— Все напрасно! Все напрасно!

А вдали виднелось новое озеро, такое же густое и красное. И я хотел думать, что Слово там, за этим озером, на том берегу.

Ко мне подползла большая склизкая ящерица и забормотала:

— Слова нет! Слова нет!

Я наступил на нее ногой и гордо крикнул прямо в лицо немым камням:

— Я найду Слово!

И эхо насмешливо повторило мой крик:

— Слово! Слово!

ЧТО-ТО ЧЕРНОЕ

Viens-tu troubler, avec ta puissante grimace
La fête de la Vie?..

Baudelaire

Оно подкралось незаметно, как вор, подкралось во тьме, освещая себе путь зеленым глазом. Оно наполнило все вокруг своим черным дыханием, проникло ко мне в сердце, разлилось с кровью по моим артериям, затуманило мне мозг... Я ждал, мучился, рвался, ненавидел, страдал, приходил в отчаяние и, главное, ревновал, болезненно ревновал...

Началось это вот как. Однажды поздно осенью я поехал с ней на лодке в этот проклятый парк. Уже темнело. Над рекой висела какая-то непонятная серая и влажная масса. Вокруг никого не было видно. Нервными взмахами весел я быстро гнал нашу лодку, стараясь поскорее покинуть город с его жесткими улицами, равнодушными стенами и этими черными, длинными трубами, которые я ненавижу, как подневольный труд. Жалкие городские фонари бежали от нас прочь; их робкое пламя мелькало все реже и реже и, наконец, исчезло совсем. Зато подняла свое бледное, тревожное лицо луна и загадочной, дрожащей улыбкой осветила фигуру моей спутницы, которая сидела впереди меня, на руле.

Тогда она сказала мне:

— Как хорошо и как страшно... Посмотри, вон, налево, на берегу — точно огромный саркофаг...

Я обернулся. Там, во мраке, протянулось какое-то одинокое, длинное, низкое каменное здание, похожее на гробницу, такое же печальное. Мне было неприятно видеть его и я еще быстрее погнал нашу лодку, чтобы поскорее уплыть от странного, серого гроба. Но внутри меня осталось какое-то

неприятное чувство: как будто осколок гробницы попал ко мне в душу.

Вы знаете, что этот парк окружен высокой оградой и к нему нет подъезда с реки, но я еще раньше открыл в одном месте маленькую забытую калитку и на берегу сваю с железным кольцом, за которое можно привязать лодку. Минут через сорок мы были там. Я перешел на нос лодки и, громыхая цепью, старался прикрепить ее к кольцу.

Холодный лязг железа гулко и отчетливо раздавался в туманном воздухе, пропитанном сыростью и лунным светом.

Вдруг моя спутница стала просить меня ехать домой.

Я растерялся и бормотал:

— Дорогая, почему? Такой чудный, волшебный вечер. Ты посмотри... И эта луна...

— Мой милый, мне страшно!

Тогда я ответил с наивным самомнением мужчины:

— Со мной тебе нечего бояться.

Я помог ей выйти на берег, потом взял весла, оставил их на берегу, а уключины захватил с собой.

Калитка тоскливо скрипнула и мы пошли по дорожке, спотыкаясь на кучи опавших, осенних листьев.

Мы шли, как всегда, к нашему любимому гроту, который казался нам таинственным... Под его сводами всегда готово прозвучать эхо — этот саркастический голос мертвой природы — и от него непрестанно веет полуистлевшим загадочным прошлым.

Мы шли. Черный, густой воздух делался все плотнее и плотнее. Мне казалось, что кто-то надел на меня железные латы: так тяжело было идти. Иногда, впрочем, на одну минуту раздвигался свинцовый сумрак и среди зияющей щели можно было видеть шатающиеся призраки деревьев. Они шептали что-то. И это было страшно.

Она прижалась ко мне. И вот когда мы, объятые осенним сдавленным чувством, двигались наугад среди деревьев, теряясь перед их причудливыми контурами, началось это ужасное, это мучительно-загадочное.

Одним словом, я почувствовал, что мы не одни... Понимаете? Здесь было еще что-то. Вот тут, близко, рядом...

Оно, очевидно, давно уже следило за этой женщиной и теперь нагло преследовало ее. Ужас и ревность смешались в моей душе.

А между тем, у моей подруги, по-видимому, прошел страх; она шла слегка взволнованная, смущенная; она, конечно, чувствовала присутствие этого тайного и рокового, но уже не тяготилась им теперь.

Тогда я стал шептать:

— Идем, идем домой...

И мы побежали назад, к лодке...

Казалось, что земля уплывала из-под ног; все время справа между деревьями мне мерещился голубовато-зеленый свет, какая-то странная дрожащая полоса.

Выбегая из сада, я с силой захлопнул калитку, но она снова приотворилась и из нее проскользнуло что-то черное.

Луна ушла в глубь темного неба. Ветер со свистом злобно пронесся над рекой.

Дрожащей рукой я зажег в лодке фонарь и поспешно сел за весла.

Ах, как мы тогда быстро мчались вниз по реке. Чьи-то огромные серые крылья все время шелестели над нами.

А когда мы вышли на пристань, я увидел, что моя спутница совсем больна. По-видимому, приближался припадок астмы, которой она страдала иногда.

Я едва успел довести ее до дому. Несчастная побледнела и задыхалась.

Приезжал доктор и шепотом говорил мне, что ее жизнь в опасности.

Впрочем, на этот раз все кончилось благополучно. Постепенно я стал забывать о нашей поездке; но все-таки в моей душе остался какой-то мутный осадок и какая-то беспричинная ревность стала клевать мой горячий мозг.

Это была не та постыдная ревность самца, которая так грубо волнует нашу чувственность. Я не вынимал из стола револьвера и не любовался жадно этим маленьким изящным стальным орудием, которое всегда готово швырнуть в лицо врагу свинцовую смерть. Я не старался вообразить себе его глаза, волосы, походку, платье, галстук... Я не упивал-

ся мыслью о мести, этой развратной мыслью, которая рождается в клетках нашего мозга в то время, когда они бывают отравлены испорченной, ревнивою кровью. Не то было со мной: я не знал моего соперника, но я был уверен в его существовании и всегда, почти всегда чувствовал его присутствие. На губах моей возлюбленной я ощущал следы чьих-то поцелуев... Это была медленная, торжественная пытка.

Помню один вечер.

Она была не совсем здорова тогда. Мы сидели в ее мягкой комнате, среди бледных лиловых лучей ленивого фонаря. В платье с глубокими складками без твердых линий, возбужденная лихорадкой и соблазнительно-бессильная, она была похожа на какой-то раскрывшийся махровый цветок с душистыми нежными лепестками.

Я опустился на ковер и зарылся лицом в ее колени. О, эти трепетные горячие ноги! И вот, когда мое сердце отдавалось симфонии ее тела и когда ее жадная дрожь передавалась мне, опять это черное ревниво подкралось ко мне сзади. Я это чувствовал и боялся оглянуться, боялся встретиться с ним лицом к лицу.

Несколько дней спустя я как-то раз выходил из ее квартиры, одурманенный ласками, взволнованный, с торопливо-рвущимся сердцем. Не успел я сделать десяти шагов, как к подъезду ее дома подошла какая-то темная фигура и быстро скользнула в дверь.

Глаза у меня покрылись черным крепом.

«Вот оно!» — подумал я.

Ощущая в спине приятную, бодрящую дрожь, я пошел вслед за темной фигурой, стараясь быть незаметным пока...

Я прошел в зал. Из гостиной доносились звуки рояля. Она импровизировала странную музыкальную фантазию. Мечтательная, извивающаяся, ароматная мелодия лилась из соседней комнаты и медленно скользила по стенам и карнизам.

Вокруг меня колебались тени.

Я стоял, опьяненный ревностью, затаив дыхание...

А когда я раздвинул портьеру, ужас ледяной рукой сдвинул мне горло. Что-то черное жадно и властно смотрело в

упор на свою жертву.

И самое страшное было то, что она не видела черного.

Сердце судорожно колыхалось у меня в груди и страшная мысль жгла мне мозг.

Тогда я понял все и я не ошибся: в эту ночь мою любовницу задушила смерть.

СТЕНЫ ШАТАЮТСЯ

I

Я рано проснулся, так рано, что свет в комнате был неясный, неуверенный, — и я успел услышать шорох удалявшихся ночных теней.

Я не выношу этих молчаливых серых фигур, которые всегда шелестят складками своих покровов. Но они постоянно попадают мне на глаза то ранним утром, как сегодня, — то в сумерках, когда человеческая душа раскалывается на множество зеркальных кусочков и когда каждый осколок колет мозг и сердце.

Я знал, что сегодня со мной должно случиться что-то неприятное, что-то похожее на укол отравленной иглой.

На дворе стояла осень, ежегодная странная болезнь, которая заставляет природу, эту роскошную женщину, плакать в истерике раздражающими слезами.

Ах, эти осенние дни с их непонятными тонами, написанными сепией и желтовато-зеленой краской! Куда девалась сочная медянка и горячее золото?

Идешь по улице, а кругом увяданье и слезы и эта чувственно-податливая осенняя влажность. Еще немного осеннего солнца — и ты уже не уйдешь от этой пьяной слабости, тоски и невольного, но тягучего сочетания с природой, когда ты отдаешься сладкому томлению, замирая весь, как звучащая струна.

И чудится, что везде, во всех этих огромных домах, в которых — должно быть — много комнат с ласковыми коврами и тяжелыми молчаливыми портьерами, совершается что-нибудь тайное и соблазнительное.

Однако, что мне до этих соблазнительных тайн? Мои нервы танцуют какой-то бесовский танец. Вероятно, они все спутались и бегут беспорядочно к моему мозгу с визгом и

стоном. Немудрено, что во мне такой хаос и каждый звук вызывает ряд нелепых красочных впечатлений, а каждый красочный тон влечет за собою особое сочетание запахов.

Внутри меня рождается какой-то зеленовато-коричневый осенний крик.

Я шел по улице мимо большого зловещего здания, кажется, биржи. Помню влажную стену, эти огромные, серые камни, а под ногами мокрый асфальт.

Сердце мои стучало неравномерно и пугливо и напряженно ожидало чего-то неизбежного.

И это ожидание перешло предельную черту, превратилось в какую-то странную лихорадку.

Я не мог сидеть дома, где все было полно воспоминанием об этих шуршащих существах, и я целый день бродил по городу и ездил на трамвае, жадно прислушиваясь к нестройному хору камней.

Обедал в маленьком ресторане на набережной и видел из окна вереницу белых пароходов, которые ждали с нетерпением полночи, когда разведут мост и позволят им плыть дальше под торжественную музыку звезд.

Я пил пиво, золотое пиво, от которого у меня по сердцу пробегает тень. И, пока пиво шумело у меня в голове, я не чувствовал тревоги, но часов в шесть речной воздух отрезвил меня и тревога опять заколола мне грудь.

Потом на маленьком пароходике я переправился на тот берег и там до восьми часов ходил по пассажам, разглядывая пеструю публику в надежде встретить кого-то знакомого.

Около витрины японского магазина стоял молодой человек в поношенной куртке и смятой шляпе. Этот юноша был удивительно похож на меня, когда мне было лет двадцать пять и я учился в университете.

Мне хотелось подойти к нему и предложить золотого пива, потому что я вспомнил свою молодость, но он ушел куда-то и я не знал, куда он ушел.

Тогда я пошел один в пивную и пил там до тех пор, пока мысли не устроили в моем мозгу хоровода. А потом на улице все было непохоже на будни, все было очень инте-

ресно: и огни фонарей, которые кое-что знают; и бледная дама в черной шляпе со страусовым пером; и лиловый гранит, холодный гранит лилового цвета...

Шли торопливо люди, закутанные в черное, и казалось, что у всех скрыты под полою предательские ножи с жадным лезвием.

И я крикнул громко:

— Скорей же, скорей!

И вздрогнули карнизы и луна. Все закружилось. Мой крик был дерзок и вызывающ. Ко мне бежали какие-то люди, махая длинными темными руками, но я быстро перелез через перила и стал спускаться по скату к реке, где над водою мелькали огни — красные, голубые и лиловые...

Мои ноги скользили по смятой траве, а наверху, прямо перед моими глазами, сверкали зигзагами странные полосы яркого света.

Внизу вздыхала вода и что-то упрямо стучало о деревянные сваи. Это — лодка, темная, как ночь, и сильно пахнущая смолой.

Около сваи на берегу, в грязи, сидела маленькая девочка в лохмотьях.

И на правом плече у нее было большое зеленовато-белое пятно; должно быть, луна случайно мазнула эту жалкую фигурку своим лучом.

А далеко наверху слышались голоса тех темных, которые махали руками и бежали ко мне.

— Направо он пошел, говорю я тебе! — ворчал сердитый сиплый голос.

И кто-то злобно отвечал:

— Молчи, Адам! Идем за угол. Сам видел.

И тогда я засмеялся:

— Ха-ха-ха!

Вода вздыхала по-прежнему и было видно, что ей все равно, кто я и зачем стою здесь, раздавленный тяжелым мраком.

Вот я опустился на землю и сел рядом с девочкой, с маленькой, худенькой девочкой, у которой дрожали плечи. И у меня на левом плече появилась зеленовато-белое пятно.

Не знаю, задремал я или нет; не знаю, был ли то сон; мне казалось, что все отделилось от меня и ушло и я остался один и только тоненькая ниточка привязывала еще меня к этому большому и тяжелому миру, на который можно опереться. И вдруг, как ракета, взвилась и вспыхнула у меня в мозгу мысль: и весь мир держится на ниточке!

И тотчас ужас, холодный и влажный, подполз ко мне и обнял мои ноги.

Было так, как будто я стою в черной амбразуре на высокой башне, а внизу у ее фундамента плавают густой, липкий мрак. Кто-то вынул у меня из груди сердце и вложил в меня маленькую летучую мышь.

Я сделал страшное усилие и у меня из глаз брызнули слезы; я пополз сверху по скользкой траве. А когда дотронулся, наконец, своей дрожащей рукой до холодных перил, из груди моей с шумом вылетела летучая мышь и кто-то снова торопливо вдвинул мне в истерзанную грудь теплое трепещущее сердце.

Я стремглав бросился бежать вдоль узкой улицы, — и высокие здания справа и слева шатались и сдвигались, стараясь меня раздавить, но я выскользнул из их каменных лап, повернул за угол и очутился рядом с моим домом.

II

В темных сенях я сразу почувствовал запах человеческого тела. Но никого не было внизу, рядом со мной. Я тщательно ощупал рукой все углы и стены: очевидно, он стоял на верхней площадке. Тогда пришлось подняться вверх по железной лестнице, которая всегда гремит и гнется под ногами, как крыша. Дверь квартиры была отперта. На полу в передней валялось платье квартирной хозяйки.

Тогда я крикнул:

— Эй, хозяйка! Что это у вас тут? Кто здесь был?

Она выбежала, косматая, в ночной коротенькой и грязной юбке и захныкала над платьем.

В самом деле, какой ужас. Был вор и украл пальто ее сына, новое теплое пальто.

Я засмеялся:

— Ха-ха-ха! Я видел вора. Он стоял на верхней площадке и дрожал от страха. Я слышал запах человеческого тела и чувствовал чью-то дрожь.

Тогда хозяйка неистово закричала и замахала костлявой рукой.

— И вы не задержали его? Ступайте, ступайте скорей...

— Ловить вора? Ну что ж, я готов. Я люблю травлю. Сейчас травил меня, а теперь побегу я и буду свистать.

И я побежал, задыхаясь от смеха. В сенях я наткнулся на какой-то узел и чиркнул спячкой. Это вор оставил свою куртку. Где я видал эту куртку?

Я бросился направо за угол и наткнулся на маленького человека, который, очевидно, направлялся к нашей квартире, чтобы захватить куртку, которую он, бедняга, забыл. Я сразу узнал его по запаху.

Тогда я схватил за рукав мою добычу.

— Ха-ха-ха! Куда ты девал пальто, любезный? Куда?

И я корчился от смеха и непонятные ненужные слезы ползли по моим щекам.

Вор не бежал от меня, но как-то странно топтался на месте, топорщил руки и пожимался от сырости, потому что на нем был надет один только рваный, тоненький пиджак.

— Ба, да это тот самый молодой человек, который стоял у витрины японского магазина!

Я опять хотел предложить ему золотого пива. Как бы славно мы с ним выпили, поели бы раков, согрелись бы в уютной пивной... Как он похож на меня!

Но уже было поздно. Двое мужчин, огромных мужчин с бляхами, вынырнули из мрака и схватили вора за шиворот.

— Куда ты девал пальто? — хрипел один низким раздавленным голосом.

И другой лающий голос вторил ему:

— Куда? Га-га-га... Куда?

— Да ей-Богу же, не брал! Ей-Богу, не брал. Я вот сам

потерял куртку... Там, в сенях.

И воришка показал рукой на нашу дверь.

А из двери выскочила хозяйка и протягивала его куртку.

— Вот она! Вот... Твоя?

— Моя, моя!

И глупый малый схватил куртку и стал напяливать ее на плечи.

— Ну, вот видишь, — сказал я с веселым смехом, — ну, вот видишь, ты и попался теперь. Я тебя видел в сенях. Признавайся лучше, где пальто. Мы тебя помилуем и отпустим. Ведь отпустим? Да?

— Конечно, отпустим, — прохрипел бас.

— Отпустим, отпустим, — залаял тенор.

Вор посмотрел мне прямо в глаза и поверил мне, как честному человеку.

И я не лгал. И даже для верности спросил хозяйку:

— Вы ничего не имеете против?

Она затормошилась.

— Ничего, ничего! Только бы пальто отдал...

Тогда вор повел нас к решетке, через которую я перелезал. Мы шли с ним рядом, так что наши локти касались, и я чувствовал его дрожь, а он мою. И я не знал, где кончаюсь я и где начинается он.

Пальто лежало смирно и бессмысленно на смятой траве.

— Ага! — сказал властно человек с бляхой.

И тотчас я понял его восклицание: эти люди обманули и меня и вора; они потащат куда-нибудь несчастного человека и будут бить его и топтать ногами, обутыми в тяжелые сапоги.

И я визгливо крикнул:

— Отпустите его! Слышите? Отпустите... Ведь вот пальто.

— На кой его нам, — сказал презрительно человек с бляхой и убежденно прибавил: — Нам человека надо.

— Человека! Ха-ха-ха! Человека!

Это я смеялся и пытался вырвать вора из рук этих грубых людей, от которых пахло кислой дубленой кожей.

Но меня отпихнули и я упал на мокрые камни.

И мне казалось, что все отделилось от меня и ушло и я остался один и не было даже тоненькой ниточки, за которую я прежде держался. И опять ужас, немой, холодный и влажный, подполз ко мне и обнял мои ноги.

И было все непонятно: и темные камни, и вздохи реки, и шепот собственного сердца...

Я с трудом поднялся. Но куда идти? Везде будут шататься стены, везде будут шуршать тени и пьяный месяц зря будет пачкать зеленым светом все, что встретит на своем пути.

РАЗЛАД

I

Я получил телеграмму: «Брат психически заболел. Приезжайте немедленно».

Я бросил все и поехал в этот маленький город, затерянный в степях.

В вагоне я не мог уснуть я все думал о брате: как могло случиться, что этот здоровый на вид, неглупый человек заболел психически...

Я не мог себе представить брата сумасшедшим, который говорит нелепые вещи и бредит наяву, размахивая руками.

В вагоне было жарко, но мне казалось, что кто-то водит у меня по спине куском льда, я ежился под пледом и бормотал:

— Не может быть, не может быть!

Когда я приехал в этот город, серовато-зеленый туман ходил столбами среди строений. У меня болел левый висок. В душе образовалась прогалина. Хотелось заглянуть в нее. Но за ней было пусто. Одно непонятное и обидное зияние.

Дом брата стоял на большой, молчаливой улице. Был он выкрашен в серую линючую краску, а маленький дряхлый балкон походил на бородавку.

Мне показалось, что в окне мелькнула тень брата.

Когда я позвонил, двери мне никто не отпер. Тогда я толкнул ее, и она покорно отшатнулась.

На площадке лестницы беспомощно лежал поваленный горшок с кактусом. И как только я увидел его, я тотчас понял, что начинается что-то страшное.

Из передней была открыта дверь в зал, из зала в столовую, — дальше виднелась гостиная. Длинная анфилада комнат, залитая прозрачным утренним светом, была вся прони-

зана тишиной.

И вот среди тишины раздалось одинокое бормотанье. Это из гостиной шел брат. Шел он один.

Я все время почему-то думал, что при моем свидании с братом будет еще кто-нибудь третий; я с ужасом смотрел на брата, который шел неверными шагами и странно махал левой рукой. И все в нем — борода, серые прищуренные глаза, выющиеся пряди волос на лбу — все было родное, близкое и знакомое и в то же время на всем лежал какой-то новый отпечаток, будто чужой и властный человек прикоснулся рукой к лицу брата и от прикосновения его остался след.

И это было страшно, как поваленный горшок с кактусом.

Я стащил с себя пальто и пошел навстречу брату.

— Здравствуй, брат! — сказал я, недоумевая, нужно мне его обнять или нет.

Он не удивился тому, что я приехал, и подставил щеку. Мы неловко поцеловались.

И тотчас быстро-быстро брат заговорил что-то неясное и прерывистое и все старался отстранить рукой кого-то невидимого. Я посмотрел в его глаза и они ответили мне странным раздвоившимся взглядом.

Я стал вслушиваться в спутанную речь брата и уловил среди нее бессмысленные, циничные фразы.

В это время показалась на пороге женщина, экономка, которая жила с братом.

И вдруг брат швырнул ей прямо в лицо грубое и грязное слово, от которого у меня похолодели концы пальцев.

Я оторопел и нелепо забормотал:

— Что ты? Что ты? Брат...

Но брань уже лежала твердым комом у меня в душе и вместе с этим у меня пропала надежда на то, что все еще уладится, что болезнь брата ошибка. Теперь для меня стало ясно, что в жизнь ворвался какой-то разлад и порядка нет больше и быть не может.

Началось что-то ужасное.

Брат говорил целый день, не умолкая. И было заметно, что душа его раздвоилась. Большое и серьезное «я», кото-

рое прежде повелевало маленьким сознательным «я», ушло в глубину, а видимое сознание спуталось. Этот разлад был страшен и соблазнителен, как смерть. Когда брат говорил вещи слишком нелепые, я смущенно и нервно возражал. И моя простая, гладкая логика казалась тщедушной и наивной в сравнении с громким стремительным бредом брата.

Иногда брату казалось, что кто-то крадется по улице с ножом под полою, взбирается по лестнице на чердак и оттуда спускается в сени, в девичью и на цыпочках бежит по коридору, чтобы убить его.

И вот брат однажды бросился в кабинет, схватил револьвер и стал поджидать неизвестного врага.

Экономка в ужасе прибежала в столовую, где я сидел в то время, и молча потащила меня за рукав в кабинет.

Брат прижался спиной к книжному шкафу и целился в тот угол, где стояла на тумбе ваза с букетом из сухих колосьев и пушистых трав.

По лицу у брата скользила хитрая усмешка; левый глаз напряженно щурился, а правый, округлившийся и безумный, хотел, казалось, вместе с пулей убить того, кто заслонил тумбу с вазой.

Я подбежал к брату, схватил его за руку и забормотал, стыдясь собственных слов:

— Брат, брат! Опомнись... Никого нету. Ей-Богу! Да ты посмотри. Брат!

II

Каждый день в шесть часов приезжал доктор, высокий, бледный; он исследовал зрачки и коленные рефлексy брата и настаивал на немедленном отправлении его в столицу, в психиатрическую клинику. Доктор полагал, что у брата развивается прогрессивный паралич мозга.

А брат грозил кому-то невидимому и шептал:

— Не поверю! Уходи прочь!

Это было очень тяжело.

Брат говорил порой бессмысленно-циничные вещи, а между тем рядом с ним, отчасти в его глазах стояло непреклонно что-то большое и важное.

Раньше для меня все было ясно и понятно. Я наивно верил, что я знаю и себя и все вокруг.

А теперь, глядя на разлад, совершившийся в брате, я стал сомневаться в том, в чем раньше никогда не сомневался — в красках и звуках.

Я ходил по комнатам, смотрел на стены, на мебель, смотрел в окно на пыльную улицу, на полувнятное осеннее небо, разорванное красной полосой, и шептал:

— Это самое непонятное! Самое непонятное!

Я брал шляпу, трость и шел на улицу. На улице я не узнавал знакомых и все видел по-новому. Все — и небо, и земля, и люди — казалось мне каким-то запутанным ребусом.

Улицы то улыбались, то хмурились; дома то мигали лукаво, то скалили зубы; люди зачем-то обтянули свои кости кожей и ходили, притворяясь живыми.

Я знал теперь, что самое страшное не привидения, не спиритизм, не откровение апостола Иоанна, а сама реальная жизнь, так называемая реальная жизнь с ее наивным непониманием самой себя.

Однажды вечером я забрел на окраину города. Справа и слева тянулись несчастные покривившиеся домишки, прилипшие к земле, которая одна не брезговала ими. Люди почему-то ходили не улицей, а закоулками и с трудом перелезали через дряхлые плетни... Было серо и мгlisto. Нужен был месяц. И он выглянул, немного пьяный и обозлившийся на грязную землю. А когда где-то раздался сдавленный крик, мысли у меня всколыхнулись в ужасе и в отчаянии.

И я бросился бежать в поле, как трус.

В поле еще было страшнее, чем в городе. Там было душно от простора. Там почувствовал я себя маленьким, маленьким, как тоненькая иголка. А непонятное все росло, будто огромные морщинистые камни громоздились один на другого и казалось, что они готовы рухнуть и раздавить все встретившееся на пути.

В поле был хаос. Кружилось что-то сыроватое, густое.

В овраге возились и храпели большие, тяжелые животные.

Я вспомнил глаза брата и закричал прямо навстречу пьяному месяцу:

— Все непонятно! Все!

Но мой крик завяз в воздухе, задрожал.

— Непонятно!

Нужно было оторваться от кошмара, от тяжелой земли, которая липла к ногам; нужно было выскользнуть из лап этого пьяного месяца.

Недавно было так все просто и ясно. Как это началось? Я провел рукой по холодному потному лбу и старался сообразить, что со мной.

— Как это началось?

Сначала — поваленный горшок с кактусом. Это — во-первых.

Во-вторых, — нелепое свиданье с братом, у которого раздвоился взгляд.

— Что с ним, с братом?

Вздохнула земля. И будто шлепнулся в воду круглый камень. Такой был звук. Но воды не было видно.

Я ощупал рукой влажный воздух и сказал:

— Постой. Объясни.

Все молчало. И месяц кривился. И земля нелепо пыхтела.

Мне пришло в голову, что теперь уже порядка не вернешь: нужно отдаться разладу.

— А чем разлад хуже порядка? А почему бы и не разлад?

Страх пришел от месяца и от всей нелепости, но я отмахивался еще. Даже домой решил идти. И пошел, обдумывая, как быть.

А когда пришел домой, окреп в той мысли, что случилось нечто важное, хотя отчасти и преступное: я преждевременно подсмотрел кое-что, обычно наглухо запертое.

Это удручало и радовало, как вид умирающего.

III

Брат стоял посреди залы. Глаза были бессмысленны. Лицо сияло в блаженстве. И он бормотал:

— Я узнал! Я узнал! Вот оно! Вот...

И он тыкал в пространство своим желтоватым сухим пальцем.

Я ушел к себе в комнату и лег в постель, но уснуть не мог.

Думал ли я о чем-нибудь? Нет, это были уже не мысли. Что-то вырвалось из глубины души и разум съежился, сморщился, почувствовав присутствие большого и настоящего.

А это было все еще не все. Разве вся душа может обнаружить себя, когда здесь еще копошится сознание в этом мозгу, который похож на жирную глину?

Мне казалось, что две стены разошлась в правом углу комнаты, шатаются, а посередине пустое пространство, но все же с определенным выражением. Выражение было вызывающее.

Потом опять вернулся к мыслям.

— Здоров ли я?

И сам себе ответил:

— Да, здоров.

И опять спросил:

— Здоров ли? Почему ты уверен, что здоров?

И опять ответил:

— Потому что никто не знает того, что происходит во мне. Я еще владею собою. Вот придут люди и будут говорить здравые слова, и я стану отвечать им тоже здраво, — и они не узнают, что стены могут раздвигаться и что есть еще кое-что большее и более важное, чем разум и сознание, так нелепо испортившиеся у брата. Я здоров, потому что владею собой.

Мне почудился шорох.

Было не совсем темно: виднелся угол шкафа и кресло в белом чехле, будто в саване.

На полу размазалась белая лунная полоса. Должно быть,

луна, которая с пьяной гримасой смотрела в поле, побледнела теперь. Я думал, что луна побледнела.

Опять шорох.

У меня невольно странно задвигались пальцы на руках.

«Это брат идет», — подумал я.

Как будто дверь скрипнула и по паркету шлепали туфли.

Я хотел встать, крикнуть и не мог. Что-то сильное и тяжелое повалилось на мою грудь, прерывисто дыша.

Я чувствовал тяжесть, но никого не видел и успел сообщить:

«Это — кошмар».

А оно все давило. В глазах замелькали красные точки, потом образовалась красная струя, непрерывная.

Но я думал:

«Я боюсь струи. Я боюсь кошмара. Но ведь это все вздор! Вся штука в мозге и кровообращении...»

И кто-то рядом засмеялся:

— Ха-ха-ха! В мозге и в кровообращении!

Что-то новое, белое вытянулось передо мной. Это — брат. Он пришел к моей постели и стоял рядом. В руках у него была бумага и карандаш.

Страх у меня прошел. Я поднялся и сел на постели. Брат переминался с ноги на ногу. Пришел он босиком. А на лице его светилась какая-то таинственная улыбка. Я его притянул к себе за рукав белой рубахи и сказал:

— Садись сюда.

И он сел на постель рядом со мной и бормотал что-то.

Я рассердился.

— Говори ясней! Бормочешь, ничего не пойму.

Тогда брат довольно ясно пролепетал:

— Алгебра!

— Что за вздор! Какая алгебра?

— Вот... Алгебра...

Я посмотрел на бумажку, которая торчала в руке идиота. Едва можно было разобрать то, что было на ней начерчено. Там были буквы и цифры, знаки радикала и непонятные линии.

Я вздохнул:

— Идиот!

Но брат не слышал мертвого слова и все бормотал:

— Доказал, доказал...

И потом ухмылялся в счастье:

— Я знаю, знаю!

— Да что знаешь? Что доказал? — спросил я почти с ненавистью, улыбаясь презрительно.

— Бога! — выкрикнул идиот.

Выкрикнул и захрипел и закривлялся. Встал, размахивая бумажкой и тыча в нее пальцем. Показывал мне эту бумажку с торжеством и взвизгивал:

— Доказал! Математически! Алгебраически...

Я был поражен. К чему здесь это слово — Бог? Зачем оно? Откуда взялось? Ведь об этом не было речи.

Тогда я схватил брата за худые, влажные от пота плечи и подвел его к окну. Луна осветила лоб с прилипшими к нему выющимися прядями волос. Глаза бессмысленно встретили лунный свет. Но в лице, кроме неразумия, было еще что-то: какое-то счастливое сияние изнутри.

IV

Брата повезли в столичную клинику. Бледный доктор провожал его.

Когда брата ввели в купе, он странно завизжал и забрался на диван с ногами.

Я остался жить в старом доме.

По ночам на чердаке кто-то упорно и скучно ходил и даже как будто напевал вполголоса.

При доме был небольшой сад, запущенный и лохматый. Пахло пряной травой и медом. Был крыжовник, малина, искривившиеся яблоки. Днем все тихо дышало и все тихо дремало. Все было покрыто паутиной и золотистой пылью. Ах, какая была безраздумная лень и сладость!

Я лежал в саду, в густой траве, и думал. В голове ленивой вереницей плыли цепкие мысли. Сознание было светло

и ясно. А мне хотелось прежнего хаоса.

Мне хотелось подглядеть то, что увидел брат. Мне даже казалось порой, что в спутанном сознании брата разорвался какой-то кусок и что чрез зияющее отверстие можно было подсмотреть какой-то бесспорный аргумент, какую-то «алгебру».

Однажды ночью я потихоньку вышел из дому и пошел в поле. У меня была тайная надежда, что повторится нелепый пейзаж и соблазнительная внутренняя тревога, но ничего подобного не случилось. Была самая обыкновенная, здоровая, чувственная лунная ночь. За плетнем в мягком полумраке слышался шорох и шепот, как будто кого-то обнимали любовно.

А когда я вернулся домой и лег в постель, мне почудилось, что наверху кто-то ходит, но теперь мне было все равно.

Потом я потушил свечку и тотчас открылся целый хаос звуков мелких-мелких, как бисер.

Все шелестело, шептало и шуршало. А внятное тиканье часов на столике ясно выделялось среди тьмы.

Они неустанно твердили:

— Все-таки... Все-таки... Все-таки...

Это была как бы насмешка.

Всю ночь я не спал и слушал шелестящий сумрак.

И часы неустанно твердили:

— Все-таки... Все-таки... Все-таки...

Утром я опять пошел в сад. В саду было тревожно и от чрезмерно яркого света и от возбужденного треска кузнечиков. Траву скосили, и она беспомощно лежала умирающая. И от нее так сильно пахло, что кружилась голова.

СЕСТРА

В конце августа я поехал в имение моей тетки, незадолго перед тем скончавшейся, где жила тогда моя сестра, ее воспитанница и наследница.

Уже в вагоне железной дороги, прислушиваясь к мерному стуку колес, я почувствовал, как душа моя настраивается на иной лад, непохожий на тот, который возникал во мне при блеске огней в многосложном городском шуме.

Я отвык от странной пустынности полей, и, когда я ехал в коляске по шоссейной дороге от станции до усадьбы, мне было приятно смотреть на осеннюю землю со снопами собранного хлеба, на прозрачную голубизну далей и прислушиваться сердцем к веянию вольного ветра.

Воронье осенним карканьем своим приветствовало обнаженную землю, и какие-то маленькие зверьки отвечали траурным птицам свистом-стоном.

Солнце уже увядало на западе, когда моя коляска подъехала к огромному строгому дому.

На крыльце меня ожидала сестра, в которой я с трудом узнал девочку, какой она запечатлелась в моем воображении со времени нашего последнего свидания.

Теперь передо мной стояла стройная девушка с мудрыми и таинственными глазами, с золотой короной пышных волос, с движениями угловатыми, но царственно-гордыми, с губами неправильно очерченными и, быть может, с несколько большим ртом.

Она стояла в оранжевых лучах осеннего солнца, и мне показалось, что на ней лежит печать какого-то утомления.

Она протянула ко мне свои маленькие нежные руки, болезненно и любовно улыбаясь и покоряя меня своими лучистыми агатовыми глазами.

Наша встреча была молчалива, но, кажется, и она, и я почувствовали мгновенно, что значит любовь брата и сестры, что значит эта загадочная кровная связь.

Через час сестра водила меня по лабиринту комнат, показывая обстановку, не лишенную своеобразного вкуса, однако было видно, что моя покойная тетка, про которую ходило много странных рассказов, устраивала этот дом, не

считаясь ни с каким определенным стилем и руководствуясь лишь прихотью своей фантазии, несомненно, впрочем, влюбленной в красоту печали и увядания. От всего веяло духом старины, забвения и, быть может, тайного целомудренного экстаза. На портьерах, обоях и обивке мебели преобладали тона неопределенные — пепельно-стальные и траурно-серебристые. В комнатах, открытых для приема, стояла мебель несколько сухого стиля, маскирующая то сокровенное настроение, которое таилось во внутренних покоех. Там, в спальне, кабинете, библиотеке и угловой комнате, мебель была особого типа, по-видимому, созданная современным художником по образцам средневековья.

По стенам висели картины преимущественно на религиозные темы: «Воскресение Христово» с маленьким светящимся ангелом на гробе; «Явление Богородицы св. Доминику»; траурный «Христос» с печальными глазами, написанный в темных рембрандтовских тонах, «Святая Мария Египетская» со змеиными косами, связанными на груди, и слегка косящими глазами, святыми и преступными.

В некоторых комнатах были превосходные витро, сквозь которые проникал смешанный свет, придававший обстановке таинственность. Одна зала со стенами из мрамора, украшенная торжественными кариатидами, казалась музеем, где разнообразие предметов несколько утомляло зрение.

Из этой залы мы перешли в библиотеку, где моя тетя, известная своей склонностью к философии и религии, хранила много прекрасных книг. Здесь, наряду с французскими вольнодумцами XVIII века, можно было найти Блаженного Августина и «Цветочки» Франциска Ассизского и, наряду с великими немецкими метафизиками, таких мистиков, как Сведенборг. В особом отделе хранились сочинения высоких поэтов древности, средневековья и наших дней.

Беседуя с моей сестрой, я убедился, что она обладает умом, тонким вкусом и необычайной душевной чуткостью.

Я был взволнован этим свиданием и не без сожаления расстался с сестрой, когда она ушла в спальню. Вместо того, чтобы идти к себе в комнату, я спустился по широкой лестнице в парк, к пруду, который казался при звездном блеске серебристо-зеркальной чашей, торжественной и священной.

Я сел на старую чугунную скамью и отдался тем неопределенным мечтаниям, которые невозможно высказать, но

которые всегда сладостно волнуют душу, как любовные стихи или молитвы.

В этом доме и этом парке я был окружен тенью прошлого. Я вспомнил лицо моей тетки, ее умные, несколько близорукие глаза и старомодную прическу, вспомнил портреты моего деда, прадеда и всех этих моих чопорных предков, добродетельных и коварных, влюбчивых и жестоких, благородных и преступных. Они простирали ко мне свои руки, утомленные загробною жизнью, и звали меня на свои таинственные пути, где торжествует иная, неземная правда и, быть может, новая, неземная ложь.

Дни в этом доме проходили размеренно, и мой приезд не нарушил старого порядка, установленного еще при жизни тетки. Я встречался с сестрой во время обеда, потом она уходила к себе в комнату, и лишь по вечерам мы снова сходились в маленькой гостиной, где нередко занимались музыкой. Сестра прекрасно играла на фисгармонии, и я аккомпанировал ей на фортепьяно. Чаще всего мы играли Баха, и потом подолгу сидели в полумраке гостиной, прислушиваясь к молчанию, в котором звучала для нас неумирающая музыка. Душа моя, больная от мучительных прикосновений городской суеты, постепенно привыкала к неожиданно чудесной тишине этого дома.

Сестра казалась мне прекрасной, и моя любовь к ней не удовлетворялась ее нежным и дружеским отношением ко мне. Наши разговоры, похожие на философствования, волновали меня, потому что я сознавал свою отчужденность от каких-то тайн, которые были известны ей.

Однажды в разговоре она упомянула о тетке в выражениях, какие возможны лишь по отношению живых, и я был так смущен, что не решился возобновить разговор на эту тему.

Восемнадцатого сентября, в день ангела моей сестры — ее звали Ариадной — я читал ей вслух библию, и, когда я дошел до второго стиха четвертой главы «Екклесиаста»,

где сказано: «И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе; а блаженнее их тот, кто еще не существовал», — я заметил, что лицо сестры изменилось, и она низко склонилась над листом бумаги, на котором она задумчиво чертила какие-то знаки.

Тогда я спросил сестру, не думает ли она, что в словах библии есть противоречие: возможно ли говорить о блаженстве тех, кто еще не существовал?

На это сестра ответила мне с некоторой холодностью:

— Я не думаю, чтобы в этих словах «Екклесиаста» было противоречие; очевидно, автор книги понимает под «существованием» преходящую видимость: тот, кто уже есть, может не существовать на земле, но тем не менее, бытие его более реально, чем жизнь живых.

— Однако, — возразил я с запальчивостью, задетый ее холодным тоном, — твое мнение, Ариадна, расходится с мнением христианских учителей, к которым ты, кажется, питаешь доверие. Христиане не думают, что возможно бытие личности до рождения человека на земле. Вспомни, что Ориген был осужден собором за подобное мнение.

Но сестра не смутилась моим возражением.

— Собор, — сказала она, — признал Оригена еретиком, но он не отверг целиком его учения. Но я говорю сейчас даже не об учении, а лишь об опыте, столь же реальном, как наша с тобой братская любовь.

Последние слова сестра произнесла с душевной нежностью; тогда я стал перед ней на колени и прижался губами к ее рукам.

Наш разговор происходил ночью, но, несмотря на поздний час, мы почему-то решили выйти в парк. Луна стояла высоко в небе, и замороженные деревья, казалось, пели славу холодному свету нашей небесной спутницы. Над прудом висела непонятная серебряная сеть — должно быть, волокна тумана, осиянные месяцем. И лунная осень, эта молчаливая сомнамбула, бродила среди деревьев, простирая бледные руки.

И мы тихо сидели на скамье, едва касаясь друг друга вздрагивающими плечами, не смея заговорить, прислушиваясь к высокому небу и к увядающей и влюбленной земле.

Я мог бы назвать мою жизнь счастливой, если бы не болезнь сестры; я узнал об этой болезни случайно, однажды вечером, во время нашей прогулки по парку. Мы шли по дорожке вдоль пруда, когда я заметил, что сестре дурно; она торопливо пошла домой, слегка покашливая и прижимая к губам платок. Я пошел за ней, и на мои тревожные вопросы она нехотя ответила, что с ней бывают припадки удушья, которые находятся в непосредственной связи с болезнью сердца.

Я довел ее до спальни и в первый раз переступил порог комнаты, которую ранее занимала наша тетка. Эта комната разделялась пополам аркой: в одной половине стояла массивная кровать под балдахином из темного бархата, а двери и окна были задрапированы старинной русской парчой; в другой половине стоял византийский иконостас. Сестра объяснила мне, что в этой комнате-молельне хранятся вещи одного из родственников тетки, бывшего епископом. Здесь на особом престоле, покрытом золототканой пеленой, я заметил крест, украшенный яхонтами и опалами, евангелие, светильник и драгоценный потир. Перед старинными образами горели лампы, наполняя молельню прерывистым и неверным светом. В комнате пахло ладаном, воском и неизвестными мне благовонными курениями.

Сестра попросила меня позвать прислугу и выйти из спальни, уверяя, что ей стало лучше. Придя к себе в комнату, я поспешил раздеться и лечь в постель.

Была полночь. Странная тревога овладела мною. Я чувствовал, что пульс мой бьется все чаще и чаще, что усталость постепенно овладевает мною. Мне стоило больших усилий приподнять руку, и я уже не мог изменить положение тела.

Я заметил, что на постели около моих ног сидит кто-то. И как только прошли мгновения напряженного ожидания и мои глаза отчетливо увидели то, что врачи называют галлюцинацией, страх мой прошел и в сердце осталось чувство томления скорее сладостного, чем мучительного.

На постели, у моих ног, сидела покойная тетка. Ее ноги не касались пола, так как постель была довольно высокая; голова ее, в белом чепце, была обращена ко мне, и несколько насмешливые глаза смотрели как-то странно, как будто сквозь меня. В маленьких сухих руках она мяла кру-

жевной платочек и что-то бормотала. Я старался вслушаться в ее слова и — наконец — разобрал одну фразу: «В час последнего томленья свет зажги...»

Я закрыл глаза — и видение исчезло. И тотчас я понял, что мое расстроенное воображение вложило в уста призрака строчку из стихотворения, которое я читал накануне.

Но беспокойство не оставило меня. Я торопливо оделся и, взяв свечу, пошел в комнату сестры, предчувствуя, что ее припадок продолжается.

Предчувствие мое оправдалось: сестра полусидела на постели, судорожно сжимая края одеяла; грудь ее высоко подымалась от прерывистого дыхания; воспаленные глаза с мучительным напряжением смотрели в одну точку. Я взял ее за руку. Пульс бился так часто, что я не мог сосчитать число ударов. Две служанки молчаливо ухаживали за сестрой: клали ей на грудь лед и время от времени давали ей лекарство, от которого распространялся запах эфира.

Сестра сделала знак глазами, чтобы я приблизился к ней, и, с трудом произнося слова, попросила меня достать из серебряного складня письмо тетки, предназначенное мне.

Сестра не раз говорила об этом письме, но я почему-то не торопился прочесть его. Повинуясь сестре, я достал из складня конверт, приблизился к киоту и, при красном свете лампы, прочел это странное письмо.

«Я должна предупредить тебя, — писала моя тетка, — что ты живешь в седьмой период твоего бытия. И та, которая была некогда твоей невестой, в новом круге — твоя сестра. Но наступит время возврата, и снова сестра станет невестой. Помни слова Соломона: “Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатленный источник”».

Понимая, что тетка не могла меня мистифицировать, я объяснил эти таинственные слова расстройством ее душевной жизни.

В это время сестра почувствовала, по-видимому, облегчение: дыхание ее сделалось мерным. Она закрыла глаза и тихо уснула.

На другой день я вспомнил о моей галлюцинации. «Ночной кошмар, — думал я, — свидетельствует о переутомлении нервной системы. Не надо искать в нем сокровенного смысла». И вскоре я забыл об этом случае. Жизнь пошла по-прежнему, и только одну особенность я стал замечать в себе, и для нее я не мог найти правдоподобного объяснения: моя душа стала необычайно чуткой к колебаниям в здоровье сестры. Нарушение мерности в биении ее сердца тотчас же отражалось в моей душе, даже в тех случаях, когда я был отдален от нее значительным пространством.

Каждый раз, когда ночью случался у нее припадок, я просыпался в тревоге, понимая грозящую опасность, несмотря на то, что ни один звук не долетал до меня из отдаленнейшей комнаты, в которой спала моя сестра. Дрожа от волнения, я шел через лабиринт темных зал и всегда приходил в спальную сестры ранее, чем служанка.

Я научился ухаживать за больной, узнал лекарства, которыми она пользовалась, но я был уверен, что в моих руках есть еще одно средство, которое было более могущественно, чем стрихнин, растворенный в эфире. Я стал пользоваться особой силой, которая — как мне казалось — исходит из моей души.

Чтобы применить эту силу, я должен был сосредоточить свое внимание на одной мысли об освобождении сестры от приближающейся смерти; для этого я обыкновенно пристально смотрел на одну светящуюся точку. Случайно я избрал для этого красную лампаду перед Распятием. Рука сестры лежала в моей руке, и я чувствовал, как усилием моей воли восстанавливается постепенно нарушенный ритм ее сердца. По-видимому, и сестра чувствовала мое влияние и с доверчивостью протягивала мне руку. Иногда она совсем не звала служанок, и мы вдвоем с ней проводили томительную ночь.

Я давно уже должен был покинуть старый дом, но все мои планы были разрушены настроением, которое овладе-

ло мною.

Близость с сестрой стала для меня насущной необходимостью, и сознание, что смерть уже приблизилась к ней и что только я один усилием своей воли отстраняю траурную гостью, заставляло меня забыть о всех моих планах.

Когда я, проходя по залам, случайно слышал шелест ее платья или видел ее в парке, закутанную в осенний плащ, мое сердце сжималось от непонятного чувства, нежного и ревнивого.

Все в ней я любил благоговейно — и болезненный румянец, и лучистость лихорадочных глаз, и едва уловимый запах ее тела.

Но чем целомудреннее и чище было мое отношение к ней наяву, тем ужаснее и кошмарнее были мои сны, в которых сам дьявол, казалось, старался запятнать преступлением нашу братскую любовь.

Однажды сестра приснилась мне обнаженной, лежащей в своем алькове, на ней была широкая повязка — немного ниже линии сосцов, из-под повязки сочилась алая кровь; и я, не стыдясь, смотрел на наготу сестры. Я проснулся в ужасе и отчаянии: сон этот казался мне преступным.

А время шло; припадки стали повторяться все чаще и чаще, и сестра уже не вставала с постели. Уже давно пульс ее не бился в сумасшедшем торопливом ритме, а, наоборот, казался едва заметной дрожащей нитью, и лишь изредка волна крови, набегая, напоминала о том, что сердце совершает свою предсмертную работу. Я удалил служанок и один в продолжение трех суток стоял на коленях у постели сестры, не принимая пищи и непрерывно, и напряженно оспаривая у смерти ее жертву.

Наконец, я не выдержал этой пытки и отдал сестру последней владычице.

Тогда Ариадна неожиданно открыла глаза, уже давно сомкнутые, и произнесла отчетливо непонятные для меня слова: «Жених мой возлюбленный!»

Потом голова ее запрокинулась на подушку, и началась агония, эти ужасные содрогания от чьих-то черных прикосновений.

Я, шатаясь, уже равнодушный ко всему, вышел из комнаты и, когда я проходил по мраморной зале, мне показав-

лось, что кто-то прошептал мне на ухо: «Сумей предвосхитить смерть!»

И я не удивился этому голосу.

Пришли служанки убирать тело покойницы. Я послал в оранжерею за розами, и весь дом наполнился их благоуханием, и не было слышно запаха тления.

Потом пришел священник и какие-то неизвестные мне люди, и началась панихида.

И когда запели: «Упокой, Боже, рабу твою и учини ю в раи, идеже лица святых», — я вспомнил золотую корону ее волос и ее милые руки на клавишах фисгармонии, когда она играла Баха.

Уже не было прежней тоски в моем сердце, и в новом томлении я слушал пение, и кто-то внятно шептал мне: «Сумей предвосхитить смерть».

«Радуйся, Чистая, Бога плотью рождающая... Тобою да обрящем рай...»

Осенние лучи пробивались сквозь дым каминов навстречу молениям. Я подошел к окну. Там, в парке, шуршал листьями и веял багрянцем холодный октябрь.

И я вспомнил о великом одиночестве моем. «Сестра, — думал я, — знала что-то и кому-то молилась, и — должно быть — древние тени приходили к ней и благословляли ее на путях любви и мудрости.

А я один в печали моей и ничего не знаю, ничего не знаю...»

МЕРТВЫЙ ЖЕНИХ

Милый друг ее — мертвец...

В. Жуковский

I

В то время у нас был свой дом — за Москвой-рекой, как раз против Шестой гимназии. Помню старинные траурные ворота из чугуна и черную резную решетку, и гимназистов в серых пальто с большими ранцами.

Весною видно было из наших окон, как мальчиков обучают военной гимнастике.

Молоденький офицер ходил без пальто по лужам, его свежий весенний голос долетал к нам в открытую форточку.

Мне было тогда тринадцать лет, я была влюблена и в офицера, и в гимназистов, и вообще томилась любовным томлением, и все ждала прекрасного, таинственного жениха. Заглядывала на улице в лица прохожим: не он ли?

В церкви чувствовала его тихое дыхание, и слова молитв сочетала с признаниями кому-то неизвестному, кого уже любила.

И вот теперь, когда я, кажется, нашла его, с изумлением припоминаю жизнь мою, полную ожидания, тоски и падений.

Брату, который умер теперь, было тогда девятнадцать лет. И к нему ходили товарищи-студенты, первокурсники. Бывал один белокурый юноша, по фамилии Новицкий. Вот в него я и влюбилась.

Это был смешной роман. По целым вечерам просиживали мы с ним за игрою в шахматы, в безмолвии, млея от сладостной влюбленности.

Единственной нашей печалью был брат мой. Он возненавидел почему-то бедного Новицкого.

Если брат входил в комнату, где мы играли в шахматы, он делал гримасу и говорил скучным голосом:

— Здесь пахнет керосином. Это от вас, Новицкий?

Эта глупая шутка приводила в отчаяние и меня, и Новицкого, но нелепость повторялась изо дня в день, как заведенные часы.

Однажды в июле месяце Новицкий приехал к нам на дачу в Кусково. Я пошла с ним гулять в Шереметьевский сад. Там застал нас дождь, чудесный летний дождь в предвечернем солнце. Мы побежали с Новицким в закрытую стриженую аллею и сели на старой чугунной скамейке около статуи Афродиты с отбитым носом.

Я посмотрела на мягкие волосы Новицкого, на нежную золотистую бородку его — и сердце мое наполнилось чем-то пьяным, как вино:

— Я люблю вас, — пробормотала я неожиданно для себя.

И вдруг, вскочив на скамейку, потому что Новицкий от смущения поднялся с нее, я обняла его за шею и поцеловала прямо в губы и в усы, влажные от дождя.

Когда мы возвращались домой, солнце уже закатилось. Мы вошли на террасу смущенные, и было явно, что с нами что-то случилось.

На этот раз брат ничего не говорил про керосин. И я была ему благодарна за это — и, когда я увидела его печальные глаза и под ними тяжелые синие круги, мне стало его невыразимо жалко и жалко себя, и Новицкого.

И я побежала к себе в комнату плакать.

Роман мой с Новицким ничем не кончился. Начались иные любовные печали. По ночам, в одиночестве, припав грудью к подушке и закрыв глаза, мечтала я о неземном, и чудился порой серебристый шелест и шорох, и шепот, и в ногах была пьяная истома.

Выучила я наизусть «Демона», и на молитве, стоя на коленях, оглядывалась, нет ли его за спиной.

Открылась на исповеди попу. Выговаривал строго, и от его сухих слов было скучно. И было противно, что от батюшки пахнет табаком.

Когда он накрыл мне голову епитрахилью и читал молитву, от нетерпения я топталась на месте: хотелось выйти поскорее на улицу, ступить на предпасхальную землю, подышать апрелем.

Фигура у меня была тогда нескладная, руки казались длинными, но уже к зиме, когда мне исполнилось пятнадцать лет, я вся подобралась, насторожилась и стала похожа на барышню.

По субботам бывали у нас журфиксы, и я сразу была влюблена в двух-трех. Всем улыбалась и всем позволяла жать себе руку и говорить о любви, но тайно мечтала об ином, не умея назвать имени, не понимая, что творится в сердце.

Отцу моему было тогда пятьдесят два года. Вечно он сидел за своим письменным столом и писал «Словарь юридических наук».

И все расширял его, и казалось, что не будет этому словарю конца. По стенам стояли полки с карточками в алфавитном порядке.

Иногда отец, не вставая с кресла, кричал мне в гостиную:

— Ольга! Достань мне А-приму.

А иногда еще короче:

— Ольга! Зеленую, длинную.

Я подавала длинную коробку с алфавитными карточками и при этом испытывала нежность к отцовской лысине и розоватой старческой шее.

А мать моя тосковала предсмертно: она пила дигиталис, и по ночам с ней случались сердечные припадки.

Заслышав в ее спальне шорох, я вскакивала в одной сорочке и шла к ней, наливая дрожащими руками лекарство; набросив капот матери, бежала в буфет будить прислугу; приносили лед из кухни.

Я стояла на коленях перед постелью, бормоча жалкие, ненужные утешения.

— Мамочка, мамочка! это ничего. Ничего...

«Надо молиться, — думала я, — надо молиться». И я смотрела на розовую лампаду, повторяя безмолвно одно слово, неизвестно к кому обращенное:

— Пощади. Пощади. Пощади.

Но мать умерла.

А через месяц после смерти я пришла к отцу и сказала:

— Хочу поступить на драматические курсы.

Отец уронил очки, и я заметила, что он плачет, но на курсы все таки поступила.

Я читала громко гекзаметры, делала шведскую гимнастику и слушала закулисные сплетни.

Со многими учениками я была на «ты» и уже умела пить вино и ликеры.

В это время к нам стал ходить Борис Андреевич Полевой.

Самое поразительное в лице его был взгляд, глаза. Огромные, с расширенными зрачками, с темными, как будто в гриме, кругами, они казались таинственными лампадами, особенно, когда внезапно загорались в них красные огни.

Он был рассеян и молчалив. Сядет, бывало, за рояль, сыграет не слишком искусно, но всегда уверенно и страстно какую-нибудь мрачную сонату; молча встанет, посмотрит на меня печальными глазами и, не прощаясь, уйдет.

Однажды я сказала ему:

— Борис Андреевич! Зачем вы ходите к нам? Ведь у нас в доме скучно, неинтересно, пусто.

Тогда он взял меня за руку и тихо сказал:

— Я люблю вас.

Помню, у меня голова закружилась и стало страшно, но я поборола в себе смущение и засмеялась.

— Вы демон, — сказала я.

Но он не смеялся.

— Ах, нет! Не шутите, Ольга Сергеевна. Не шутите, прошу вас.

— Дорогой Борис Андреевич, я не могу понять вас. Как вы можете так сразу? Так неожиданно?

Мы стояли около рояли. Я взглянула на паркет, и мне показалось, что мы с Борисом Андреевичем стоим на зеркале, на стекле, а там, внизу, жуткий провал.

Я стала нескладно рассказывать ему об этом. И он вни-

мательно слушал, невольно пугая меня своими ужасными глазами.

Потом он целовал мои руки и нежно шептал:

— Невеста моя.

На другой день я сказала отцу:

— Полевой сделал мне предложение. Ты что скажешь?

Но отец заткнул уши руками, шея у него надулась и покраснела, и он забормотал:

— Не хочу, не хочу...

Я не стала спорить, но Полевой бывал у нас каждый день. Мы вместе ходили на каток, в театр, а весной вместе гонели. Полевой был верующий, и, когда он стоял в церкви, и его рыжие волосы при свете мерцающих свечей казались золотыми, мне хотелось думать, что он святой, подвижник, проповедник.

На свиданиях он рассказывал мне о загробном мире так, как будто он сам был там, и я громко смеялась и просила его проводить меня в Охотничий Клуб на вечер. С опечаленным лицом он ехал со мной в клуб; я без конца танцевала со студентами и офицерами, а он стоял у дверей, в толпе, покорно ожидая, когда я взгляну на него, и мне было приятно мучить этого большого человека с ужасными глазами.

Однажды, когда он провожал меня на извозчике — это было зимой, в оттепель — я обернулась к нему и со смехом сказала:

— Ну, целуйте же меня. Целуйте.

Он обнял меня и прижал свои губы к моим губам, и от этого поцелуя я опьянела и поникла.

Полевой умолял меня выйти за него замуж, но я все медлила и мне было досадно, что он так спешит с этим сватовством, которое казалось мне прозаическим и ненужным.

А во мне рождались предчувствия грешной, темной, телесной страсти, и по ночам мне снились странные сны. Часто снился и Полевой, но какой-то изменившийся. Лица его я не видела, но чувствовала себя в его объятиях, слышала его дыхание около своего уха, и как будто касалась своей грудью его сильной и волосатой груди.

Но наяву Полевой не ласкал меня, не целовал, не искал сближений, и я оскорблялась его холодностью. Однажды я, после концерта, поехала домой не с ним, а с художником Блаватским. Он все шутил и каламбурил; шутя привез меня в Эрмитаж, шутя целовал мои ноги — и мне не было с ним страшно, и я была уверена, что он не перейдет известной границы, известного предела.

Почему-то я была упорна в этом желании — сохранить свое девичество — зачем, Бог знает...

Я обо всем рассказала Полевому, и он ползал на коленях передо мною и о чем-то умолял и плакал. Но я смеялась: мне были приятны его мучения.

II.

Однажды Полевой пришел ко мне и сказал:

— Прощай, Ольга. Я уезжаю к себе на дачу, в Крым: доктора сказали, что у меня туберкулез легких.

Я заволновалась, пошла к отцу, объявила ему, что Полевой мой жених, и поехала с Полевым в Ялту, бросив курсы.

В Ялте все нас считали за мужа и жену, но это была неправда.

И я, такая чувственная, с Полевым не хотела и не могла сблизиться, хотя — видит Бог — любила его.

Однажды мы пошли на музыку, в городской сад, и случайно встретили художника Блаватского.

Воспользовавшись минутами, когда Полевой пошел пить сельтерскую воду, Блаватский с грустью посмотрел на меня и сказал:

— Он похудел; губы совсем неживые; он скоро умрет. Зачем вы, молодая, здоровая, красивая, связали свою жизнь с этим человеком, обреченным на гибель?

— Я думаю, что я люблю его, — сказала я нерешительно без надежды, что Блаватский поймет любовь мою, — я думаю, что люблю. Иногда этот человек представляется мне

желанным и нужным, иногда таинственным и страшным, но всегда я чувствую, что души наши связаны навек, и нет силы, которая могла бы расторгнуть эту связь и даже смерть не разлучит нас.

— Это все фантазия, — сказал Блаватский. — Вы принимаете жизнь как-то мрачно. Надо улыбаться, мой друг. А это вечное напоминание о смерти может свести с ума. Кстати: что такое Полевой? Чем он занимается?

— Сейчас он ничего не делает; он богат. А по специальности своей он химик. У него есть работы, которые известны в ученном мире.

— Вот чего никак не предполагал. И как это странно, что человек, изучивший естественные науки, верит в спиритизм и во всякую чертовщину.

— Это неправда, — сказала я, негодуя на себя за то, что приходится унижаться до спора с этим Блаватским. — Это неправда: Полевой не интересуется спиритизмом.

— Вот я, Ольга Сергеевна, художник, но скажу вам прямо: всякий мистицизм мне подозрителен и враждебен. Я пишу картину, потому что мне приятно то или иное сочетание красок, но при чем тут тайна, когда я знаю оптику глаза и всю эту нервную механику? Дорогая моя Ольга Сергеевна, все эти настроения вашего Полевого результаты болезненного переутомления. Готов держать пари, что ваши отношения остаются платоническими.

Я покраснела от досады и сказала грубо и холодно:

— Вы просто глупы, господин художник.

Потом мы втроем пошли в ресторан ужинать. Сидели на террасе и смотрели на море. Разноцветные огни горели на мачтах. Серебристо-лунная полоса пенилась вдоль бухты. Хотелось отправиться в далекое плавание, встретить совсем новых, совсем неизвестных людей, влюбиться по-настоящему в чьи-то глаза, которые мелькнут в ночи.

— Вот вы пишете картины, — сказал Полевой, обращаясь к Блаватскому, — публика считает вас декадентом. В ваших картинах неясны темы и рисунок совсем неправильный. Но не в этом дело: мне нравятся все эти ваши красочные предчувствия, если так можно выразиться. Но сегодня — пред-

чувствие, и завтра — предчувствие. А когда же, позвольте спросить, будет дело, действие, поступки?

Блаватский добродушно засмеялся:

— А почему я знаю? Думаю, что никогда.

— Никогда. Но ведь мы умрем. Поймите это. Мы умрем, и было бы нелепо думать, что наше существование будет исчерпано этими обрывками переживаний, которые вы, художники, успеваете кое-как запечатлеть в красках, а мы, простые смертные, сжигаем бесцельно — и если что остается, так это пепел любви, милый прах...

Но Блаватский перебил его:

— И вы, и Ольга Сергеевна смотрите на все слишком трагически. Простите меня, но в этом есть что-то нескромное. Все мы живем постыдно, да и не живем, в сущности, а кое-как доживаем, умираем, и вы приходите с вашими строгими и жестокими глазами и требуете от нас чего-то. Но что вы сами можете нам дать? Может быть, я не хуже вас понимаю весь ужас и всю пустоту нашего существования, но я скромно молчу, потому что не дано мне «глаголом жечь сердца людей». А если нет в нас пророческого дара и нет силы, чтобы позвать всех на общую молитву, тогда уж лучше молчать, пить вино, вдыхать эфир, писать картинки, приятные для глаз.

— Вино, эфир, картинки — это не так важно, — сказала я, улыбаясь, — а вот молчание я умею ценить. Поедьте в море и будем молчать.

Но поездка в море не устроилась. Борис Андреевич раскашлялся и пришлось идти домой. Блаватский нас провожал. И при прощании задержал мою руку в своей руке дольше, чем следовало. Так мне, по крайней мере, показалось.

III.

— Посиди со мной немного. Мне жутко, — сказал Борис Андреевич, когда мы пришли домой.

В комнате у него всегда пахло креозотом; и от высоких полок, наполненных книгами, и от столика с лабораторными склянками веяло ученым и холодным. И было странно видеть здесь киот со старинными образами и лампы перед распятием. Мы уселись друг против друга в плетеных креслах.

Он грустно посмотрел на меня и сказал:

— Меня волновал этот разговор с Блаватским. Тебе не кажется, Оля, что жить так, как мы живем, нельзя, что все надо изменить, чем-то пожертвовать и что-то полюбить?

— Да, да, конечно. Но как? Как?

— Мне кажется, что мы приходим в мир, чтобы узнать нечто. Но мы ленивы и косны, и жизнь проходит зря, неумудро. Когда я подумаю о днях, в которых, как в плену, я томился, меня охватывает отчаяние. Что было настоящего в моей жизни? Ничего, кроме моей любви к тебе.

Он хотел подняться, приблизиться и, как мне показалось, стать передо мной на колени, но его начал душить кашель, и он беспомощно опустился в кресло.

Мне стало его невыразимо жалко, и я горько заплакала, как маленькая девочка.

— Это ничего. Это ничего, — бормотал он и с ужасом смотрел на пятна крови.

— Милая Ольга! Мы не жили с тобой, как муж и жена, и теперь уже поздно мечтать об этом счастье. Но я верю, что брак наш заключен навсегда, и никто его не расторгнет.

— Но я недостойна тебя. Слышишь? Недостойна. И не говори мне о браке.

— Это неправда. Я умираю, и я чувствую, что нам надо *вместе* узнать что-то. *Вместе* легче узнать; ни ты, ни я не узнаем в одиночестве важного и значительного, что скрыто от нас теперь. Чтобы узнать, надо *вместе* полюбить. И тогда уже не будет слепоты и не будет этой жестокой боли.

Он опять раскашлялся. Мы сидели полчаса в молчании, а потом я ушла к себе в комнату.

На другой день он уже не мог встать с постели. Его лихорадило. И глаза его стали темнее и глубже. Прошло три недели, и вот дом наш посетила смерть. Еще сердце билось

в груди Бориса Андреевича; еще глаза видели солнце, и руки чувствовали, когда я прикасалась к ним, но уже не было у него той связи с миром, в какой всегда пребываем мы — живые.

И странно: он, верующий христианин, не звал священника, не стал причащаться, хотя он ясно сознавал, что смерть стучится к нему в сердце.

И необычайная строгость была на лице его. Он почти не говорил, ничего не читал и, тихо сгорая в лихорадке, смотрел сосредоточенно прямо перед собой, и мне казалось, что он видел то, чего я не видела...

Иногда заходил Блаватский и, когда я говорила ему, что Борис Андреевич умирает, у него на лице появлялась неумная боязливая гримаса, как будто кто-нибудь угрожал ему хлыстом.

Умер Борис Андреевич в ночь с воскресенья на понедельник — числа не помню. Было это в конце июля.

Ровно в два часа я проснулась: мне почудилось, что кто-то провел у меня рукой по лицу. Я вскочила полуодетая, как бывало, приходилось мне вскакивать, когда случались припадки у моей покойной матери, и бросилась в комнату Бориса Андреевича.

Он был мертв. Я почувствовала это, не коснувшись его: такая была тишина в комнате.

Тогда я пронзительно закричала, но никто не откликнулся на мой крик.

В кухне никого не было: прислуга ушла.

Накинув на себя кое-как платье, я бросилась без верхней кофточки на улицу; широко распахнула двери и не хлопнула их.

Я бежала, как безумная, по набережной к дому Блаватского без шляпы, ломая руки, в ужасе.

Я звонила и стучала, хотя в окнах у Блаватского не видно было огня, и он медлил отпирать: должно быть, одевался.

И когда, наконец, он впустил меня, я не знала, что ему сказать, и заметалась по комнате, натываясь на стулья и бормоча непонятные слова:

— Смерть, смерть, смерть...

После похорон Бориса Андреевича я осталась в Крыму, переехала только за город на дачу — поменьше, и все чего-то ждала, никуда не выходила из дому, и ко мне ходил один только Блаватский.

Сначала я была в каком-то странном оцепенении, похожем на сон: не верила, что Борис Андреевич умер, не понимала, что это значит, и даже не было в сердце настоящей печали.

И только однажды, когда ко мне пришел Блаватский и уговорил идти на берег — смотреть солнце после бури, которая перед тем шесть часов бушевала на море, я внезапно очнулась от своего глухонемого сна.

Мы сидели на камнях. Пахло солью и рыбою, и далеко вокруг нас берег был влажен, и везде были разбросаны водоросли, раковины и почерневшие доски, выброшенные морем.

Мимо нас прошла с громким плачем старуха. За ней бежала кудрявая девочка, едва поспевая на маленьких босых ножонках, запачканных землею.

— О чем плачет старуха? — спросила я Блаватского.

— Кажется, это рыбацка. После бури лодки еще не возвращались. Говорят, погибли.

Я посмотрела на горизонт, над которым висела золотая сетка дальнего дождя, и вспомнила, что я молода, что смерть, может быть, далеко от меня. Во мне проснулась животная любовь к себе, и не было жалко никого — ни старухи, ни Бориса Андреевича, ни брошенного мною отца, ни брата, который сделался горьким пьяницей, если верить отцовским письмам.

Я встала с камней и громко засмеялась, и мне показалось тогда, что Блаватский смотрит на меня с изумлением.

Потом мы пошли ко мне обедать, а после обеда играли в шахматы партию за партией — и я плакала всякий раз, как проигрывала; а если выигрывала, мне казалось, что Блаватский мне нарочно уступает, и тогда я колола ему руку длинной булавкой. И меня радовали капли крови.

Через неделю мы поехали в Кореиз и остановились в

пансионе госпожи Губерт.

Теперь все считали моим любовником Блаватского, хотя и ему я не отдавалась до конца, но отношения наши были близки, очень близки...

И вот однажды ночью, когда совсем пьяная луна накренилась над землей и сильно пахло розами, Блаватский долго целовал мои ноги и, наконец, утомленный поцелуями, пытался овладеть мной.

В последнее мгновение я все-таки выскользнула из его объятий, но странное, жуткое и сладостное чувство покрыло меня, как сеткой, и я одна, без любовника, забилась в любовной дрожи.

Через две недели я пошла за советом к госпоже Губерт, которая оказалась акушеркой, и она мне объяснила, что я беременна.

— Но я девушка, — сказала я.

— О, это бывает, — засмеялась злобещая старуха и дала мне прочесть медицинскую книжку, где подобные случаи цинично описывал какой-то немец-профессор.

Я рассказала об этом Блаватскому. Он предложил мне обвенчаться. Мы так и сделали там же, в Кореизе, а после свадьбы я одна уехала домой, в Москву, к отцу.

Весною я родила мальчика, но роды были неблагополучны: мальчик умер, а я тяжело заболела: впоследствии мне объяснили, что у меня была эклампсия, а потом психическая болезнь, и меня поместили в клинику.

Теперь я душевно здорова, но что-то изменилось во мне. И хочется рассказать об этом, но мучительно и трудно рассказывать. А надо, знаю, что надо.

Говорят, после родов был час, когда все думали, что я уже не жива, и меня покрыли простыней, и гробовщик в кухне торговался с нашей экономкой.

Я думаю, что то была правда, что я воистину была мертва, но Бог дал мне снова жизнь, чтобы я открыла людям одну из великих тайн.

Но силы мои слабы, а тайна моя несказанна. Как передать людям мое знание?

Вот я сижу иногда и вокруг живые люди смеются, гово-

рят и пожимают друг другу руки, а я чувствую, как отделяюсь от себя, от той Ольги Сергеевны, которую вы видите, и смотрю на все со стороны и знаю свою правду о ваших словах, взглядах и жестах.

Боже мой, Боже мой! Мы так близки к истине, так свободны, но по своей великой косности и лени и боязливости живем и умираем постыдно.

И нет вокруг меня людей, которые захотели бы приблизиться ко мне и узнать истину, а без их воли я ничего не могу открыть. Но все же не одна я: со мною Борис Андреевич, и ночью, когда все тихо и вольно, я чувствую его.

Но пока о свиданиях моих с ним я не могу, не смею рассказать.

ПРИВИДЕНИЕ

I

Я — человек непартийный и, признаюсь, к мнениям политическим отношусь с терпимостью чрезвычайной, но все-му есть предел, господа. Я полагаю, что наша администрация, например, подчас совсем неталантлива, а иногда, извините, даже и неумна вовсе. Вот почему я, несмотря на мою беспартийность, никогда не отказывался принимать у себя радушно лиц, этою самою бестолковою администрацией гонимых.

Когда Александр Степанович привел ко мне одного молодого человека, фамилии которого он мне не назвал, а попросту отрекомендовал «товарищем Евгением», я, разумеется, не выгнал его. Ночевать? Очень рад. Ночуйте, пожалуйста. Ему, изволите видеть, нельзя проживать в столице — глупость какая. Уверяю вас, что я знал многих и многих прекраснейших и честнейших особ, а господа администраторы почитали их врагами отечества. Нет, я ничего не имею против того, чтобы «товарищ Евгений» у меня ночевал. Я Александру Степановичу доверяю и весьма его уважаю. И врач он прекраснейший, и жену мою однажды, можно сказать, от смерти спас, хотя, конечно, на все воля Божья, и без Бога никакой Александр Степанович ничего не поделает.

Так вот, значит, и остался у меня па ночь «товарищ Евгений».

Я ему говорю:

— Извините меня, сударь, я занят и нет у меня времени с вами беседовать. Пожалуйста вот сюда. Аннушка вам постель приготовят. На столе, — говорю, — ветчина, если угодно... Может быть, водочки желаете?

— Нет, — говорит, — я водки не хочу.

— Ну и прекрасно. Господь с вами.

Надо вам сказать, что в тот вечер Марии Григорьевны,

жены моей, не было дома. Я пошел к себе в кабинет, надел очки и стал читать «Лавсаикон» епископа Палладия. Вы изволите знать эту книгу? Читаю я эту самую книгу, и какое-то странное во мне беспокойство. Что такое? В чем дело? «А ведь это, — думаю, — меня гость беспокоит. Пойду-ка я, посмотрю, что он там делает».

Подошел я к двери, постучал.

— Можно войти?

— Пожалуйста.

— Услышал, — говорю, — ваши шаги, пришел осведомиться, не надо ли чего. Аннушка, вижу, постель вам постелила. А вам, видно, не спится. Отчего не закусили? Ветчина у меня неплохая, малосольная.

— Благодарю вас, — говорит, — есть я не хочу и спать тоже не хочу.

Посмотрел я на него повнимательнее и, признаюсь, подивился: уж очень лицо у него было утомленное и как будто тень легла на глаза и на губы. И вообще что-то в нем мрачное было, обреченность какая-то. И жалко мне его стало, и чем-то был он мне неприятен. Как живой, стоит он передо мною сейчас. Высокий, сутулый, худощавый, с большими руками. Лоб у него был крутой. Глаза его, запавшие в глубину, неласково смотрели на меня из своих темных гнезд. Нос был нетонкий, а губы, сухие и вялые, скучно кривились в улыбку.

— Невесело вам? Тоскуете? — спросил я как-то нечаянно и, по правде сказать, сам смутился, что вдруг без видимой причины и даже, пожалуй, неделикатно спрашиваю человека о его душевном.

«Товарищ Евгений» посмотрел на меня искоса:

— Не очень весело. Так себе. А вы, господин, не беспокойтесь. Вы заняты и занимайтесь, пожалуйста. Мне и одному ладно.

— Занят-то я занят, да спешности такой все-таки у меня нету, — проговорил я решительно. — «Лавсаикон» я сейчас читал.

— Какой «Лавсаикон»?

— Епископа Елинопольского Палладия сочинение.

— О чем сочинение?

— О святых разных, об искушениях, о том, как им видения были, о демонах-соблазнителях.

— Чепуха какая, — усмехнулся «товарищ Евгений». — Охота вам такую ерунду читать!

Тут уже я обиделся.

— Да ведь вы, — говорю, — молодой человек, не читали сей книги, так, пожалуй, ваши выражения значения не имеют. А? Ведь, признайтесь, не читали?

— И читать не буду. Суеверия презираю. Рабы, — говорит, — всегда суеверны. На суевериях дурной порядок держится.

Я тогда не утерпел и говорю:

— Если уж на то пошло и угодно вам, молодой человек, в делах повседневных глубину видеть, так я вам даже открою, что этот самый дурной порядок черти поддерживают.

Развеселился тогда мой Евгений:

— Черти, вы думаете? — смеется. — В первый раз такую штуку слышу. Шутник вы, однако, господин.

— Не шутник, а внимательный человек. Кто от суеты рассеян, тот этого не видит, а стоит приглядеться хорошенько, так и увидишь этикие рожи с рогами, из-за администраторских спин торчащие.

— Аллегория, — говорит, — забавная, признаюсь.

А я ему:

— Аллегорий не люблю. Аллегория всегда отвлеченность. А я, сударь, реалист.

— Еще бы не реалист, — смеется, — коли даже чертей с рогами заметили!

А я, знаете ли, обратив внимание на его легкомысленное юношеское высокомерие, рассердился и в азарт вошел.

— Да, молодой человек, почитаю себя реалистом, потому что допускаю идейно и постигаю непосредственно внутренним опытом своим вещи незримые и неосязаемые, а все преходящее иллюзия, и в лучшем случае одна грань, один, так сказать, разрез истинного бытия. Поняли?

Нахмурился «товарищ Евгений».

— Значит, шиворот-навыворот?

— Да уж как хотите там выражайтесь, а единое несомненно: видимый мир нереален. Попробуйте-ка исследовать все нас окружающее, — и окажется, в конце концов, что ничего нет, кроме сил и движения. Какая же это реальность? А с другой стороны, изнутри на тот же мир посмотрите, и станет вам ясно, что время и пространство свойства субъективного сознания нашего. Отнимите у мира пространство и время, что тогда получится? Петербург в Лондоне окажется, эпоха Александра Македонского со временем Наполеона совместится. Фантазмагория, молодой человек. Из этого следует, что настоящее-то, реальное где-то не во времена и не в пространстве.

— Да ведь ваши черти рогаты и хвостаты. Значит, и они в пространстве обретаются.

— Неосновательно, — говорю, — возражаете вы мне, молодой человек. Когда я про чертей говорю, употребляя столь образные выражения, не очевидно ли, что я перевожу, так сказать, на язык наш человеческий — и, конечно, грубый язык — переживания совсем иного, более тонкого порядка. Черти с хвостами, молодой человек, это символы, — понятно ли вам?

— Э! Да вы, я вижу, философ, — говорит.

Потом, знаете ли, помолчал и вдруг с какою-то даже злобою говорит мне, а сам в глаза мне не смотрит:

— Вы, должно быть, господин, и в привидения верите? Вы, может быть, и видали когда мертвецов-то этих?

Я молчу, потому что вижу, что расстроился мой гость совсем. Смотрю я, ходит он по комнате, размахивает руками и уже не замечает меня, и как будто сам с собою разговаривает:

— Вот всякие такие мысли и отвлекают народ от его насущных задач. Поп в церкви об адских муках и обо всем прочем проповедует; в школе зубрить заставляют стишки Лермонтова о демоне; господа интеллигенты сладкие слова о нравственном долге твердят, не стыдясь; немудрено, что в голове рабочего человека туман непроницаемый.

Я, было, хотел в речь его словечко вставить.

— Позвольте, — говорю, — разъяснить вам нечто. Разнородные вы идеи в одну кучу смешали...

Но он и слушать не хочет, и на меня никакого внимания не обращает, еще быстрее по комнате зашагал. Вдруг как-то неожиданно обернулся ко мне и говорит:

— Послушайте, вы сказали, у вас водка есть... давайте водку пить.

Мне это, по правде сказать, не очень понравилось, но из вежливости я, конечно, говорю:

— С удовольствием рюмки две-три с вами выпью.

Я пошел за графинчиком. Надо вам сказать, что весь этот случай в мае месяце произошел. А вы знаете, какие в Петербурге у нас ночи майские — белые, как невеста в подвенечных нарядах. Вернулся я с графинчиком. Сели мы за стол. Совсем светло. А все-таки не день, что-то, пожалуй, даже неестественное.

Посмотрел я на моего гостя, а у него лицо бледное-бледное и странное какое-то. Почудилось мне, что совсем оно прозрачно, и померещилось мне тогда, что я череп вижу и пустые впадины глаз. Так две-три секунды как сон какой мне снился. Потом прошло наваждение. И опять передо мною «товарищ Евгений» сидит и водку пьет. После третьей рюмки спрашивает он меня:

— Почему вы думаете, что скверный порядок черти поддерживают?

Я ему говорю, так и так, мол, всякая темная сила свободы не любит, потому что Бог — свобода и любовь. Потом еще говорю ему: и потому черти скверный порядок с удовольствием поддерживают, что в их интересах человека от человека отделить: ежели Бог — любовь, так и от всякой вообще любви чертям тошно. Когда такой порядок заведен, что каждому человеку свое стойло отведено, а вместе и сообща ничего делать не позволено, это все на руку сатане. Отсюда и название такое пошло — *черная сотня*. В самом деле, она *черная*, потому что ихним делом *черт черный* правят.

Улыбнулся товарищ Евгений.

— Как же, по-вашему, с чертями бороться надо?

— Открыто, — говорю, — бороться надо, без всяких хитростей, как христиане первых веков за правду боролись.

— А за это вешают теперь иных, — говорит он мне сурово, а у самого, смотрю, руки дрожат.

Я ему тогда прямо сказал:

— Ежели кто за Бога стоял, за любовь, значит, и за свободу истинную, и убили его — царство ему небесное и венец мученический.

Тогда он мне:

— Ну, а если кто в Бога не верит, а все-таки повесят его за правду, что же тому будет, по-вашему?

— А это, говорю, даже понять невозможно. Где Бог, там и правда. А если человек, чистый сердцем, от Бога отрекается, значит, просто глупый он. Такому, я думаю, Господь наш Иисус Христос по неразумию его грех его отпустит. Только, пожалуй, кто от Бога отрекается, тому и за правду трудно стоять...

Вижу я, что гость мой седьмую рюмку себе наливает. Я его за рукав дернул.

— Не довольно ли? Вы хоть бы закусывали, что ли... Вот вам горчица к ветчине. Это не французская. Мария Григорьевна сама приготовила. Марии Григорьевны сейчас дома нет. Она у свояченицы гостит.

— Хорошая горчица, — смеется, — и ветчина хорошая. За ваше здоровье.

Делать нечего, пришлось и мне выпить.

Пьем мы с ним, а мне страшно. Чувствую я, что обреченный он человек. Захмелел он совсем и рюмку подымает:

— Долой буржуазию! Да здравствует пролетариат!

Я смеюсь, не пью. А он хмурится, спрашивает, почему не пью. Я его успокоил кое-как. Не пью, мол, потому, что вредно для здоровья, а положению тяжелому пролетариата очень сочувствую и эксплуатации не одобряю вовсе. Поверил и даже по плечу меня потрепал.

— Ладно, — говорит, — я и один выпью.

Ну, конечно, как хмельной человек, целоваться полез и «ты» мне стал говорить.

— Понравился ты мне, чудак, — говорит, — только я твоих чертей по-своему понимаю, не так, как ты. Я их *психологически* понимаю... А может, это одно и то же, в конце концов...

А сам смеется, кашляет. И опять мне в нем померещилось что-то мертвое, костяное, скелетное...

Так я с ним целую ночь просидел. В семь часов он от меня ушел, и, надо признаться, гость этот изрядно меня утомил тогда. Я, ведь, господа, человек немолодой — сами понимаете.

II

Ровно через год после этой беседы моей с «товарищем Евгением», тоже в мае месяце, случилась со мною странная история. Жил я тогда на десятой линии Васильевского острова. У Марьи Григорьевны в те дни плеврит был, и она лежала в постели в компрессах. Я этим обстоятельством очень был расстроен. А тут еще кухарка наша в деревню отпросилась к брату на свадьбу. Остались мы с одною Аннушкой. В сумерки послал я Аннушку в аптеку за аспирином. Она вышла черным ходом и дверь снаружи заперла. А я прямо из кухни прошел, было, в спальню к Марье Григорьевне, но, заметив, что она опит, осторожно, на цыпочках пробрался в гостиную и сел там в кресло. Вот, думаю,читаю я теперь. Увлекался я в то время чрезвычайно сочинением Иоанна Кассиана Римлянина. Сажу я так с большим этим томом на коленях и вдруг слышу резкий такой звонок в передней. Я вскочил и книгу уронил даже. Показалось мне, что уже давно кто-то звонит, а я зачитался и не слышу. Иду я в переднюю, отпираю дверь — за порогом никого. А я знаю, что снизу к нам звонить никак нельзя. Удивился я, что почудился мне звонок, однако, помедлив немного, запер дверь и хотел было в гостиную вернуться, но вдруг вижу, стоит в передней «товарищ Евгений», тот самый, с которым я год тому назад беседовал. Изумился я, конечно,

что он очутился в передней так неожиданно, однако, тотчас же сообразил, что вернулась, стало быть, Аннушка, и он прошел черным ходом.

— Здравствуйте, — говорю, — очень приятно знакомство возобновить.

А он, знаете ли, странно так молчит и едва-едва усмехается. «Он ли это?» — думаю. Он как будто — высокий, сутулый, худощавый и руки такие же большие, лоб его крутой, и глаза из темных своих гнезд так же непонятно смотрят, и губы такие же сухие и вялые.

— Вы, значит, черным ходом прошли? — спрашиваю.

А он молчит и смотрит на меня по-прежнему, невесело, и как будто худо меня видеть, как будто я не рядом с ним стою, а где-нибудь далеко. Жутко мне стало от этого взгляда — точно издалека.

«Это, — думаю, — сумерки на меня так действуют».

И, вдруг, представьте, пьтится от меня этот мой гость незваный и как будто норовит в коридор отшмыгнуть. Я его даже за рукав схватить успел, а он, в самом деле, — за угол, да в коридор. А там к вечеру полумрак у нас, ежели лампы нет. Я за гостем моим.

— Куда вы? — говорю. — Куда?

Слышу шаги его по коридору. Признаюсь, я за ним следом бросился. Он, вижу, в кухню. Я за ним туда. Вхожу в кухню: никого нет. Дверь заперта снаружи по-прежнему. Тогда я только сообразил, что померещился мне этот самый «товарищ Евгений». И стало мне как-то грустно и неприятно, и вдруг я почувствовал, что холодно мне ужасно, как будто я в погребѐ стою: сыро и холодно.

«Что такое? — думаю. — И зачем он ко мне приходил, в самом деле? И хоть бы словечко какое сказал...»

Очень грустный, пошел я в спальню к Марье Григорьевне. Она проснулась, оказывается. Я ей все рассказал, как было. Марья Григорьевна женщина рассудительная.

— Перекрестись, — говорит, — и не думай об этом больше. Мало ли какие наваждения бывают.

Однако, дело этим не кончилось.

Недели через две встречаю я в Летнем саду Александра Степановича, того самого, который мне «товарища Евгения» рекомендовал. Сидим мы с ним на скамеечке на боковой дорожке, против Марсова поля, там, где статуя Амура и Психеи, знаете? Сидим и беседуем, на детей любимся. Бегают вокруг карапузики — забавные такие... А у меня из головы не идет «товарищ Евгений». Хочется мне спросить, где теперь он и что с ним, как он живет, а спросить никак не могу почему-то. Дивный был день, редкий в Петербурге, солнечный, но Александру Степановичу нельзя было долго сидеть: на прием в больницу спешил. Стали мы прощаться. Не утерпел я, наконец, и говорю:

— А скажите, пожалуйста, Александр Степанович, где теперь находится «товарищ Евгений»? Помните, вы ко мне его привели? Ночевал он у меня в прошлом году.

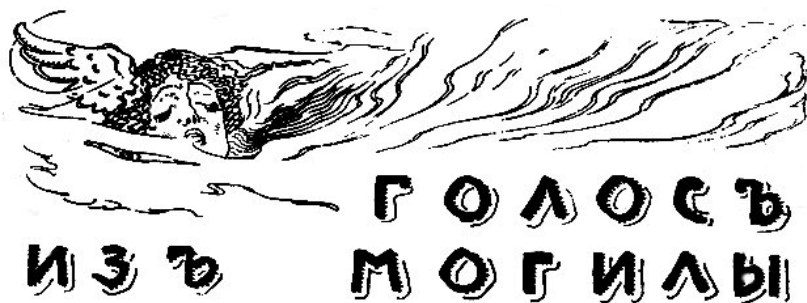
— Как же, — говорит, — знаю. *Его две недели тому назад в Николаеве повесили...* Прощайте, — говорит, — мне в больницу надо.

Так вот, господа, какое странное стечение обстоятельств.

Рассказав эту историю о привидении, Максим Антонович посмотрел на всех нас как-то вопросительно, будто ожидая, что мы выскажемся по этому поводу.

Почтовый чиновник Рудименко, слывший среди нас скептиком и вольнодумцем, сказал, что в этом ничего нет сверхъестественного и что подобные случаи суть «проявления какой-то пока еще неизвестной энергии, которая, действуя подобно беспроволочному телеграфу, влияет на мозг человеческий, порождая такие чрезвычайные телепатические эффекты».

С этим мнением почти все согласились, хотя сравнение с беспроволочным телеграфом показалось кое-кому рискованным и не совсем убедительным.



I



В есною 1650 года в одном из воскресных номеров Антверпенской газеты было напечатано: «В Швеции умер дурак, который говорил, что он может жить так долго, как он пожелает». Это был Декарт. В сочинениях Христиана Гюйгенса читатель найдет замечательное письмо философа к брату. Из этого письма я и займствую мои сведения о статье Антверпенской газеты, появившейся два с половиной века тому назад.

Декарт, веривший в безусловное могущество разума, в самом деле охотно допускал мысль, что человек завоюет себе бессмертие здесь, на земле. Иные пылкие ученики его готовы были поверить в бессмертие своего учителя и весьма изумились, когда Декарт скончался.

Мои религиозные убеждения исключают веру в земное бессмертие, однако и я склонен думать, что человек может по произволу продлить жизнь свою собственную или кого-нибудь из иных людей. В конце концов страшный закон смерти восторжествует на земле, но борьба с этим законом и даже временная над ним победа возможна. Вопреки мнению Декарта, я думаю, однако, что сила, противостоящая смерти, не есть наш верховный разум. Я верю, что эта тайная сила заключается в нашей воле.

Я знаю по опыту, как могут сочетаться души, и как они могут влиять друг на друга, и как это влияние переходит за грани внешнего мира.

Я прошу выслушать меня не только тех, кто склонен допустить существование миров иных, и тех, кто утверждает самоуверенно предельный агностицизм. Дело в том, что я сам скептик, милостивые государыни и милостивые государи. Но я умею скептически относиться решительно ко всему — даже к самому крайнему скептицизму. Вот почему я не восхищаюсь Пироном, который прошел равнодушно мимо попавшего случайно в яму Анаксарха, полагая, что всякая видимость ничего не значит и что поэтому решительно все равно, протянет или не протянет он руку своему злополучному ученику. Как ни низко я ценю здравый смысл, однако при известных условиях необходимо пользоваться его указаниями. И это, надеюсь, примирит меня кое с кем.

Итак, я начинаю мое повествование о событиях моей жизни, о моей любви и о моих страданиях. Я любил мою жену, любил нежно и пламенно. И самое имя ее — Вера — звучало для меня, как обетование райского света.

Мне так же трудно выразить мои благоговейные чувства, мое восхищение и мой восторг, как трудно определить словами прелестное очарование моей Веры. Никогда не встречал я женщины более искренней и правдивой, но никогда также не приходилось мне открывать в душе человека столько противоречий, острых и неожиданных.

Вера всегда оставалась собою — страстная и целомудренная, мудрая и наивная, строгая и добрая, жестокая и готовая пожертвовать своею жизнью и пойти на казнь без трепета и сомнений. Она была женственна, как земля, как вечная Ева, но в ее сердце звучали песни, занесенные в наш мир ангелами из голубой страны, где первоисточник предвечной гармонии. Однако она, по-видимому, вовсе не сознавала, что неземной свет сияет в ее глазах, и была привязана к земле нераздельно, как растение.

II

Два года мы счастливые жили в России — я и моя жена.

На третий год мы решили уехать в Италию.

Мы приехали в Венецию поздно вечером. Когда черная гондола беззвучно отчалила от вокзала и гондольер, неспешно гребя веслом, направил ее вдоль безмолвного канала; когда мы почувствовали странную тишину венецианской ночи и слышали шуршащие шаги запоздавших прохожих, торопливо переходивших по горбатым мостам; когда мы вошли в отель, у порога которого при свете фонаря плескалась зеленая вода, и увидели нашу комнату с огромным распятием и с мебелью, уцелевшей, по-видимому, от времен Гольдони, Тьеполо и Казановы, мы вдруг почувствовали, что вот сейчас безвозвратно канул в прошлое наш далекий пустынный мир, где мы любили друг друга так страстно и так верно.

Дни и ночи, проведенные нами в Венеции, Падуе и Флоренции, угасли, как сны. Мы спешили в Рим.

— В Рим! В Рим! — говорила Вера в непонятном восторге, почти в экстазе.

И я разделял ее чувства и хотел поскорее увидеть Рим, где мы намерены были поселиться на несколько месяцев. Но уже по дороге из Флоренции в Рим у меня явилось новое чувство, похожее на страх. И я боялся сам себе признаться, что я уже знаю, как будет *опасно* для меня пребывание в Риме.

— Стыдно быть суеверным, — повторял я, смущаясь, однако, все более и более по мере того, как мы приближались к Вечному Городу.

Сначала предчувствия мои не оправдались. Ничто не нарушало нашего счастья. Рим очаровал и пленил нас.

Мы поселились на вершине Капитолийского холма, на *via del Campidoglio*, которая спускается вниз к Римскому Форуму. Из наших окон видны были античные развалины — три колонны, оставшиеся от храма Веспасиана, камни храма Согласия, базилика Юлия и прочие обломки великолепного Рима. Но не этот мертвый город, когда-то суровый, мощный и страшный, увлек нас. Мы восхищались Римом Возрождения, безумной пышностью Ватикана, но еще более мы полюбили христианский Рим первых веков,

таинственную прелесть строгих фресок, их дивную монументальность в духе Византии. И в то же время мы радостно улыбались, любуясь вольною роскошью Бернини и мрамором иных вилл, созданных по прихоти людей XVIII века.

Мы наслаждались Римом, жадно вдыхали воздух Кампаний, уезжали за город, бродили по окрестностям, отыскивая все новые и новые сокровища, припоминали историю и с непередаваемым чувством касались камней, которые были свидетелями великих событий. Но в глубине моей души я таил смутную тревогу, как будто моему счастью угрожала близкая опасность.

Однажды, гуляя по Риму, мы зашли в базилику св. Климента. Как необычайна эта церковь! Она глубоко ушла в землю. И в то время, когда в ее верхнем ярусе, над землею, служат мессу среди средневековых стен, украшенных богатою мозаикою, представляющей Христа с символами евангелистов, св. Климента, св. Лаврентия и св. город Вифлеем, — там, в глубине, под мрачными сводами скрывается иная, безмолвная церковь, где при свете свечи можно рассмотреть древнейшие фрески первых веков христианства, бледные и полустертые, но еще сохранившие выразительность рисунка, в котором явственно отразилась экстатическая и целомудренная душа художника. А еще ниже, еще глубже ушла в землю третья, ныне недоступная церковь — языческая: здесь был когда-то храм Митры и когда-то здесь совершался таинственный ритуал — дар загадочного Востока утомленному безверием Риму.

Когда мы вошли в церковь, службы не было. Мы осмотрели мозаику и спустились вниз в обществе нескольких случайных туристов. Впереди нас шел с фонарем монах и говорил по-французски с итальянским акцентом, указывая на фрески:

— Вот... На стенах надписи седьмого века...

— Вот... Христос, благословляющий по греческому обычаю...

Его монотонный голос странно и тоскливо звучал под сводами. Мы покорно следовали за монахом и рассматри-

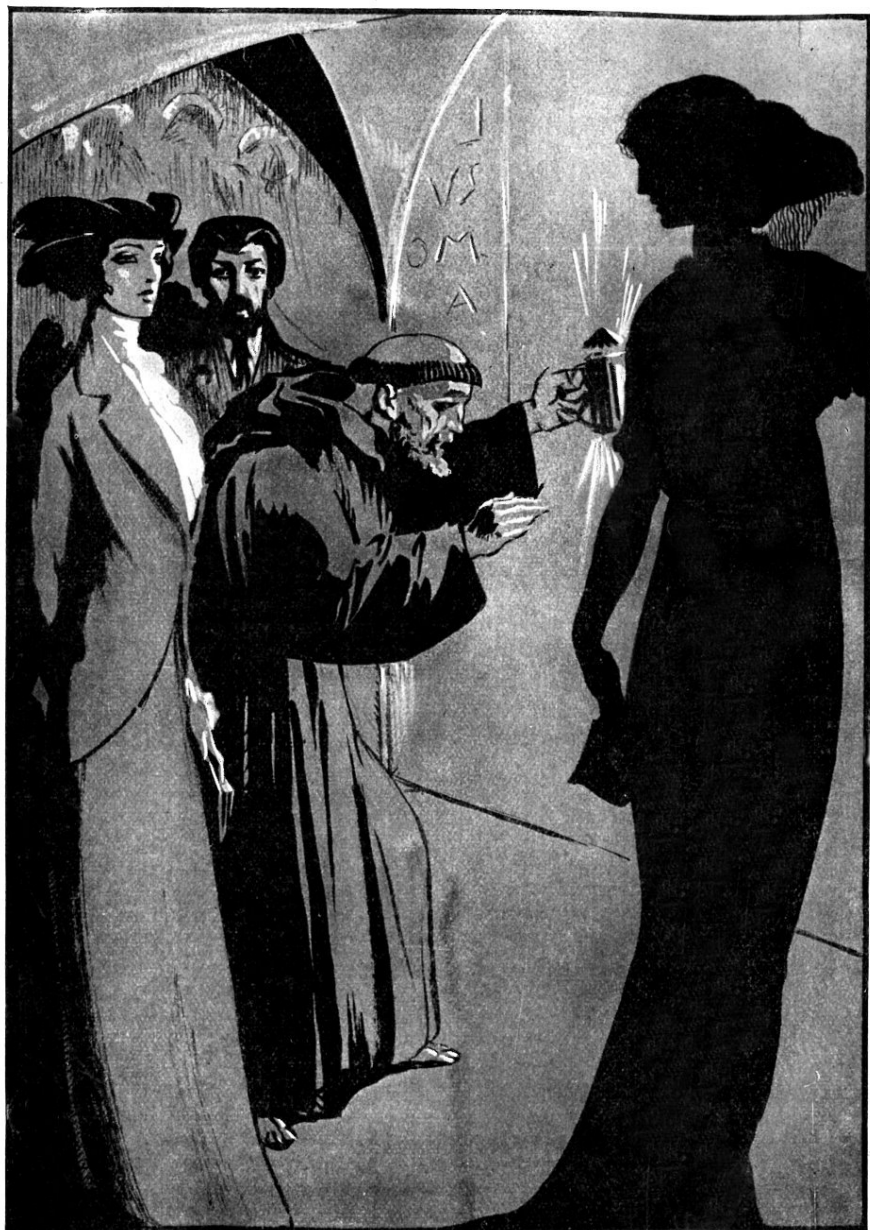
вали фрески, не столько восхищаясь их красотой, сколько благоговей перед их древностью. Но вдруг и я, и Вера остановились, пораженные и взволнованные одним чувством — тем волнующим, острым, беспокойно сладостным чувством, которое рождается в сердце, когда видишь шедевр, отразивший твою мечту, повторивший твой сон, который ранил когда-то твое сердце. Это была фреска в нише — Мадонна с Иисусом на руках. Часть фрески погибла. Едва-едва сохранились очертания фигуры Богоматери и облик Христа; но лицо Вечной Девы, заключенное в византийскую корону и окруженное золотым нимбом, было дивно и загадочно, прекрасно и нежно.

— Глаза! Какие глаза! — прошептала Вера, касаясь рукою моей руки.

Я обернулся и вздрогнул. Рядом с Верой стояла другая женщина. *Глаза этой незнакомки были тождественны с глазами Мадонны.*

То, что Вера обратила внимание на это поразительное сходство, исключало возможность истолковать мое впечатление как случайную иллюзию. И, однако, какое-то странное и неприятное подозрение мгновенно возникло у меня в душе. В чем я сомневался: в том ли, что это сходство в самом деле так очевидно для всех, или в том, следует ли обращать внимание на сходство, столь непонятное и странное? «Хорошо ли, — думал я, — придавать значение этому случайному совпадению? Мастер VI века, писавший Мадонну, верил в ее чудесную непорочность, а эта женщина, несмотря на поразительное внешнее сходство, по-видимому, вовсе не свободна от земных страстей». Как будто подчиняясь какому-то внушению, я обернулся и стал пристально разглядывать незнакомку. Да, это были те же черты, та же строгая линия бровей, тот же овал подбородка, те же пылающие загадочные глубокие глаза, обведенные темно-синими кругами, и тот же, наконец, рот... Но в то же мгновение я вдруг понял, чем отличается лицо незнакомки от лица Мадонны.

Незнакомка чуть-чуть улыбалась. И лишь эта едва заметная улыбка, лукавая и двусмысленная, нарушала тожде-



ство двух женских лиц, в жизни и на фреске, — двух лиц, так неожиданно возникших передо мною в этой подземной церкви, при мерцающем свете восковой свечи.

Все эти мысли мгновенно пронеслись в моей душе. Незнакомка заметила, какое впечатление она произвела на меня и на мою спутницу.

— Посмотрите наверх, господа, — забормотал на своем итальянско-французском языке монах, указывая на фреску над аркой, — вот Христос, окруженный ангелами и святыми...

Незнакомка вздрогнула почему-то и выронила из рук бедкер. А когда я поднял его, она, краснея, сказала по-русски:

— Благодарю вас.

При выходе из базилики мы познакомились. Эта женщина, чье сходство с Мадонною так изумило меня и Веру, оказалась русскою дамою, путешествующей по Италии в обществе своей старой родственницы, которая, по ее словам, осталась на этот раз в отеле, потому что чувствует себя не очень хорошо. Когда мы расстались, сообщив друг другу наши адреса, я поспешил поделиться с Верою моим впечатлением, и она сказала, что не менее, чем я, изумлена этим сходством нашей соотечественницы с образом Вечной Девы, пригрезившейся четырнадцать веков назад какому-то итальянскому мастеру.

— Но как странно улыбается эта русская, — сказала тихо Вера.

И я ничего не ответил ей тогда, но я почувствовал, что наша встреча неслучайна и что улыбка эта будет фатальною для меня.

III

На другой день на Piazza di Spagna мы встретили графиню Елену Оксинскую — так звали нашу новую знакомую. Вера предложила ей поехать с нами за город по Via Appia к

катакомбам св. Каликста. Она тотчас же согласилась. Эта поездка сблизила нас. И вот начались наши странные свидания втроем — в галереях, театрах, музеях, базиликах и виллах... Неожиданная нежность Веры к графине, жизнь которой нам совсем была неизвестна, смущала меня, и я даже предостерегал ее от сближения с этой загадочной женщиной. Но и сам я испытывал на себе влияние ее чар, и были минуты, когда у меня являлось желание бежать из Рима, чтобы не видеть графини Елены, ее двусмысленной улыбки, ее таинственных глаз и тонких рук, нежных и бледных, как лилии.

Графиня Елена очаровала нас, однако, тою непринужденностью, которая свойственна настоящим аристократам, чьи предки в течение многих веков привыкли к личной свободе и к счастливому обладанию сокровищами мировой культуры. Но я до сих пор не могу понять, как она при ее высоком уме, тонком вкусе и прекрасном образовании могла примирить свой аристократизм с явной благосклонностью к одному ничтожному и лживому человеку, о котором я должен рассказать сейчас, чтобы выяснить мое отношение к событиям, связанным с именем графини Оксинской.

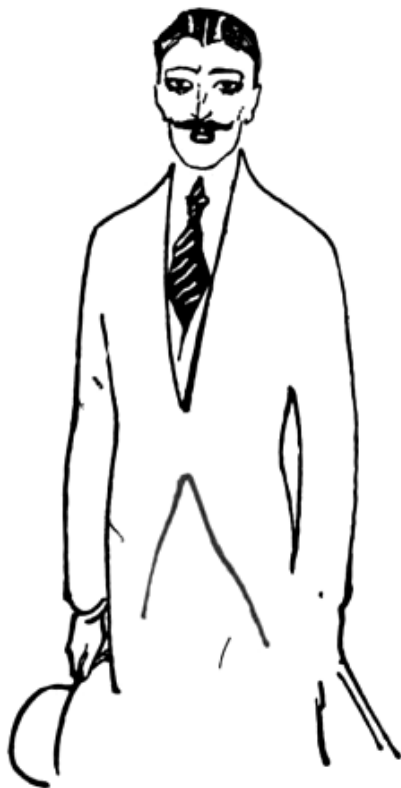
Сеньор Николо Джемисто был тот человек, дружба которого с графиней Оксинскою казалась мне странной. Нередко видел я графиню в обществе ее тетки, дряхлой старушки, едва ли способной мыслить здраво, и этого неприятного мне Джемисто, австрийского венгерца, присвоившего себе почему-то итальянскую фамилию.

Однажды графиня Елена пригласила меня и жену мою к себе в отель на чашку «русского» чая, и мы, не колеблясь, приняли это приглашение, о чем теперь я готов сожалеть, потому что вечер этот был для меня началом грустных событий, свидетельствующих о моей слабости и, пожалуй, о моем позоре.

В этот памятный для меня вечер графиня Елена была пленительна и нежна, остроумна и загадочна более, чем когда-либо. Ее изумительное сходство с образом Богородицы и в то же время эта непонятная тонкая ядовитая улыбка, такая неожиданная при этом сходстве, экстатический блеск

ее глаз и строгая линия лба — все это внушало мне волнующие чувства, быть может, подобные влюбленности.

Когда графиня познакомила меня с сеньором Джемисто, я невольно вздрогнул, почувствовав в лице этого человека что-то лживое и болезненное вместе с тем. Цвет лица его был странно белый, что делало его похожим на куклу. Как будто неживая маска, с приклеенными черными усами, надела была на лицо этого синьора, а настоящие черты его были тщательно скрыты. Вот почему казалось лживым это мертвое лицо. Однако глаза Николо Джемисто быстро бегали в отверстиях этой белой личины, скрывавшей какую-то тайну. И красные губы Джемисто, искривленные в неизменную улыбку, пугали меня, вызывая невольно воспоминание о рассказах про вампиров и упырей.



Благодаря находчивости графини и ее умению руководить обществом, завязался разговор, несмотря на то, что у меня возникла в душе определенная антипатия к сеньору Джемисто, хотя, разумеется, я старался ее скрыть и сохранить спокойствие. Мне было трудно это сделать, потому что тема нашей беседы могла бы вызвать ожесточенный спор, и я тщетно уклонялся от обсуждения по существу вопросов, затронутых графиней и Джемисто. Я вынужден был возражать иногда самоуверенному синьору, утверждавшему весьма легкомысленно такие вещи, которые, на мой взгляд, свидетельствовали

о его неумном суеверии или об его недобросовестности. Мы разговаривали о телепатии, телекинетии, телефонии и телесоматии, причем Джемисто судил обо всех этих формах анимизма с неприятной развязностью профессионального медиума.

И в самом деле, вскоре выяснилось, что синьор Николо Джемисто считает себя медиумом, и графиня подтвердила, что глубоко верит в его необычайные медиумические свойства.

— Спиритизм, — сказал я, не будучи в силах скрыть моего раздражения, — вовсе не внушает мне доверия. Вот уже несколько десятилетий господа спириты тщетно стараются нас уверить в наличии простых *фактов*, и даже это им не удастся. Почему? Я придаю значение древней и средневековой магии, готов считаться и с современным оккультизмом, но я не могу игнорировать в то же время доводов моего разума. А мой разум требует при исследовании новых явлений *точного метода*. Вместо этой желанной точности спириты предлагают случайные опыты, скомпрометированные, кроме того, многочисленными обманами шарлатанов.

— Вы еще сомневаетесь в самом существовании медиумических явлений? — спросил меня Джемисто, улыбаясь своею мертвою улыбкой. — Неужели вы не доверяете свидетельству таких ученых, как химик Мэпс, или физик Варлей, или физиолог Майо, или астроном лорд Линдсей?

— Отдельные имена ничего не доказывают. Ученых могли обмануть простые фокусники.

— Я назвал вам четыре случайных имени, — возразил Джемисто, пожимая плечами, — но я могу назвать вам мировых ученых, чья наблюдательность и опытность исследователей не позволяют нам предположить, что они явились жертвою шарлатанства. Я назову вам всемирно известного Крукса, Бутлерова, Уоллеса, де Моргана, Фламмариона, Цоллнера, Фехнера, Баррета... И я могу прибавить еще десятки не менее известных и почтенных имен...

— Ах, сеньор, имена ничего не значат в данном случае. Я, в свою очередь, назову вам Менделеева и целый ряд иных

ученых, которые уличали спиритов в легковерии и легкомыслии.

— Вопрос о медиумизме можно разрешить лишь собственным опытом, — заметила графиня, желая, по-видимому, прекратить наш запальчивый спор.

— Сеанс! Сеанс! — вдруг совершенно неожиданно забормотала тетушка графини Елены. — Давайте устроим сеанс... Сеньор Джемисто всегда так любезен... И я хочу беседовать с князем Василием...

Я с изумлением посмотрел на старуху. Кстати сказать, я всегда недоумевал, зачем графиня, путешествуя по Европе, возит с собою эту развалину. По-видимому, графиня (ее муж — моряк — был в дальнем плавании) считала неудобным путешествовать одна, без какой-нибудь родственницы — и вот эта старуха, выжившая из ума, сопровождала ее повсюду для соблюдения светского приличия. Вероятно, мои предположения не лишены были некоторого основания.

Тетушка, подняв маленькие сморщенные руки и кивая головою в пышном чепце, настаивала на том, чтобы все теперь же приняли участие в сеансе.

Я посмотрел вопросительно на мою жену. Она улыбалась снисходительно. Тогда я заявил, что готов принять участие в сеансе. На середину комнаты выдвинули круглый столик, вокруг которого все уселись и образовали медиумическую цепь. Сеньор Джемисто сидел между графиней и ее тетушкой. За ширмы заранее поместили стол с бумагою, карандашом и колокольчиком. На камин поставили одну горящую свечу. Электричество погасили.

Сеанс начался, и, конечно, последовательно возникали явления, о которых тысячу раз говорили и писали спириты, ничего не разясняя, с какою-то упрямою наивностью. Конечно, столик выстукивал фразы, бессодержательные и пустые; конечно, дух князя Василия говорил с тетушкой о придворных сплетнях; конечно, звонил колокольчик за ширмами и на оставленном там листе неведомая сила написала фразу по-итальянски:

«La Morte trionfa dell'uomo».

Мне скучно было присутствовать при однообразных опытах. Тогда столик простучал фразу «Éteignez la bougie!»

По знаку графини я потушил свечку.

Минут десять мы сидели молча в темноте. Потом появился какой-то неясный свет, голубоватый и холодный, в виде небольшого пятна. Как я ни старался обнаружить его источник, мне это не удалось. Светящееся пятно росло и принимало постепенно иной вид. Уже можно было различить очертание человеческой фигуры, закутанной в белый плащ. Привидение склонилось над Джемисто, который был освещен светом, исходящим как будто от этой белой полупрозрачной фигуры. Я не сомневался тогда, что нас мистифицирует этот выходец из Австрии, успевший почему-то снисказать доверие графини Елены.

Столик простучал: «Lumière». Я зажег свечу. Привидение исчезло. Сеньор Джемисто находился в трансе. Я, конечно, склонен был думать, что он притворяется. Графиня, однако, сама подала ему стакан с водою, когда он пошевелился и томно откинул голову на спинку кресла. Тетушка была в восторге:

— Князь Василий — как живой... Я как будто слышала его голос... Сеньор Джемисто! Сеньор Джемисто! И завтра надо устроить сеанс... Вы согласны? А?

И эта дряхлая старуха с неожиданным проворством схватила медиума за плечо своими костлявыми пальцами. Джемисто вздрогнул и поднял голову, озираясь.

— Признает ли теперь наш скептик подлинность медиумических явлений? — спросила меня графиня, улыбаясь, как всегда, ядовито и двусмысленно.

— Чудо внутри нас, — ответил я уклончиво и тоже усмехнулся.

IV

Мои предчувствия оправдались. Странный вихрь налетел на меня и поверг меня на землю. Я низко пал в те дни,

покорствуя какой-то темной силе, обольстительной и ужасной. Я как будто забыл тогда, что моя Вера была единственной пристанью, где мог бы я укрыться от грозы и ветра. А я бежал от нее прочь и сам искал бури, не сознавая своего безумия.

Я влюбился в графиню Елену Оксинскую. Я не заметил, как опасные сети опутали меня, и было уже поздно, уже не было возврата, когда я дал себе отчет в моих поступках.



На другой день после сеанса моя жена почувствовала легкое недомогание. Она решила остаться дома и расположилась в углу дивана с книгою в руке. А мне привели верховую лошадь, и я отправился на Monte Pincio. Я ехал в рассеянности, мысли мои как-то расплылись, и я почти не замечал того, что окружало меня. И вот внезапно я почувствовал, что мне угрожает *опасность*. Я прекрасно помню мое слепое желание предотвратить во что бы то ни стало эту неведомую *опасность*. Но моя смутная тревога тотчас

же исчезла почему-то, когда я увидел, что навстречу мне едет коляска и в ней сидит графиня Елена с крошечною японскою собачкою на коленях. Эту собачку звали Диу-Миу. Совсем лишенная шерсти, лишь с хохолком на макушке и маленькими пучками волос на лапках, она была забавна и внушала в то же время, вероятно, благодаря своей хрупкости, какую-то невольную жалость. Когда я подъехал к коляске и поздоровался, графиня ласково мне улыбнулась и тотчас же заговорила со мною все о том же — о моем напрасном скептицизме и о важности медиумических опытов.

— Одно из двух, — сказал я, — или медиумические явления натуральны, и тогда нет основания уклоняться при изучении их от методов строгой науки; или эти явления связаны так или иначе с демоническими силами, и тогда они перестают быть интересными, потому что поведение медиума и ответы «духов» свидетельствуют с достаточной убедительностью о том, что эти предполагаемые демоны относятся к категории существ ничтожных, мелочных и немудрых. Но есть еще и третья возможность, — прибавил я, усмехаясь. — Это прямой обман и шарлатанство со стороны медиума. Впрочем, я думаю, что возможно сочетание всех трех предположенных данных.

— Я тоже думаю, — проговорила задумчиво графиня, — что в медиумических явлениях надо различать и то, и другое, и третье...

— Значит, вы допускаете и шарлатанство? — спросил я, недоумевая.

— Да. Бессознательное. Демоны дурачат медиума, и он подчиняется иногда их требованиям.

— Но ведь медиумов обличали в заранее обдуманых фокусах.

— Медиума всегда сопровождают духи. Он почти в их власти.

— И медиум постепенно перестает быть человеком. Не правда ли? Он становится как бы автоматом. Не так ли?

— Пожалуй, что так.

— А! — воскликнул я не без некоторого раздражения. — Вот почему сеньор Николо Джемисто так похож на куклу.

Графиня Елена ничуть не обиделась на мое грубоватое замечание о ее близком знакомом.

— Джемисто похож на куклу, — повторила она задумчиво и стала ласкать собачку, которой, по-видимому, доставляли большое наслаждение прикосновения графини.

Мы разговаривали о медиумизме и как будто бы спорили, но в это время, помимо моей воли, между мною и графиней происходило какое-то иное, безмолвное общение, устанавливалась какая-то иная, невидимая, но реальная связь.

Я наслаждался звуками ее голоса, светом ее глаз, движениями ее руки, которая ласкала собачку...

В течение недели моя жена не выезжала никуда из отеля, и как-то само собою случилось, что я каждый день видел графиню и, хотя между нами не было произнесено ни одного слова, обличающего наши чувства, я почему-то скрыл от жены эти наши свидания.

Я не верю в то, что принцип этого мира может быть нарушен; я не верю в то, что *сверхъестественное* начало может изменять природный порядок; но я несколько не сомневаюсь, что существа иных, не природных измерений — скажем, *демоны* — могут влиять на нас непосредственно, вмешиваться непрестанно в нашу психическую жизнь, не посягая, однако, на нормы земной жизни. Чудес быть не может, потому что чудо всегда *едино*. Если бы существовали чудесные явления — два, три, четыре, — мы всегда могли бы установить новый закон, что исключает, разумеется, самую идею чуда. Чудо неповторяемо. Однако, мы слишком поверхностно исследовали даже этот ограниченный мир трех измерений. Вот почему надо быть осторожным при обсуждении явлений и опытов, на первый взгляд странных и неожиданных, но в конце концов согласованных с верховным принципом мироздания.

Итак, я почувствовал в те дни, что какие-то демоны окружили меня и влияют на мою судьбу. Разлюбил ли я мою жену? Нет, я не сомневался тогда, что *не могу без нее жить*. Однако я был в плену, жестоком и сладостном, и я не мог освободиться от чар моей загадочной возлюбленной — графини Елены Оксинской.

О, как мучительна была эта двойственность моей внутренней жизни! И как не похожи были эти женщины друг на друга!

Если жена моя воплощала в себе очарование земли, ее душу, ее мудрую тишину, если ее жизнь была как мирный путь нашей планеты в пространстве, полет ее вместе с солнцем к какой-то иной великолепной звезде; если она была царственна и нежна и если все в ней было гармония и песня, то что можно было сказать про графиню Оксинскую? В этой странной женщине не было вовсе ни тишины, ни земной правды, ни совершенной гармонии... Она страдала *аритмией* сердца и, вероятно, аритмией души: в ее душе звучала музыка пленительная, но исполненная диссонансов, мучительных и волнующих; ее красота сочеталась с болезненной меланхолией; в ее улыбке таилось что-то порочное, а в ее глазах была предсмертная грусть...

И ее любовь была как благоуханное, но ядовитое зелье. Я жадно припал к пьяной чаше и выпил ее до дна.

V

Я не буду рассказывать о том, когда и как я первый раз сказал графине Елене о моей любви; я не буду рассказывать о наших свиданиях. Для меня открылась новая огромная страна, исполненная дивных очарований и волшебных видений. И в то же время я испытывал ужасные муки, сознавая свое падение и тщетно скрывая свою страсть от моей Веры, которая тотчас же угадала то, что случилось. Она не спрашивала меня ни о чем, и я ничего не говорил ей, но эти долгие вечера, которые проводил я вне дома, эта любовная лихорадка, которая овладела мною, — все, конечно, выдало мою ужасную измену. Я возвращался домой, не смея смотреть в глаза моей жене. Ее нерешительная просьба провести с нею вечер — тогда, когда у меня было назначено свидание с графиней; ее тихий вздох или глаза, наполненные слезами, — как это мучило меня! И как я сты-

дился моей страсти, чувствуя иногда, что в ней больше *магии*, чем *любви*.

Ах, эти римские лунные ночи, среди траурных остроко-
нечных кипарисов и благоухающих роз, когда графиня
Елена шептала мне таинственные слова о предвосхищении
смерти! Ах, эти любовные признания, смешанные с певу-
чими строками Данта! Я не забуду никогда, как смотрела
на меня графиня Елена, как она прислушивалась к моему
голосу, как повторяла иные мои слова... Я не забуду наших
тайных свиданий в незаметных отелях, когда графиня вхо-
дила в эти сомнительные убежища и одним жестом прев-
ращала все, нас окружавшее, в сказочный сон.

Слова и поступки графини Елены были всегда необы-
чайны и всегда значительны, потому что она себя, и меня,
и весь мир чувствовала предсмертно, как обреченная, как
уверенная в том, что вот еще один миг — и сама Смерть по-
зовет ее в свои чертоги. Она любила меня сомнамбуличес-
ки.

— Ты приснился мне таким, — шептала мне иногда гра-
финя Елена.

И я чувствовал, что она вкладывает в эти слова тайный
смысл.

Но было еще *нечто*, смущавшее и волновавшее меня
чрезвычайно. Я по-прежнему не понимал, в каких отноше-
ниях находится графиня к этому странному венгерцу. Ино-
гда я с изумлением встречал его на пороге того отеля, где у
нас было назначено свидание с графинею; иногда он нео-
жиданно появлялся на улице во время нашей прогулки и
театрально с нами раскланивался, не подходя, однако, как
будто не желая помешать нашему уединению. Его лицо, по-
хожее на маску, возникало передо мною время от времени,
как страшный символ *небытия*.

Наконец, горе и отчаяние моей жены достигли того пре-
дела, когда стало очевидным, что надо решиться на что-
нибудь и прекратить эту недостойную и лживую жизнь. И
вот в одно из наших свиданий я сказал графине:

— Вы знаете, что значит для меня ваша близость и как
я люблю ваши глаза, ваши руки, ваши губы... Вы знаете, как

волнуют меня ваши предчувствия и как созвучна ваша душа моей душе. Но я никогда не скрывал от вас, графиня, что я люблю мою жену и не могу ее покинуть никогда. Моя жена умрет, если мы не расстанемся с вами.

Графиня вздрогнула и с ужасом посмотрела на меня.

— Но ведь ты мой! Ты мой! — прошептала она совсем тихо.

— Я люблю мою жену, — повторил я, опуская голову.

Тогда ее лицо изменилось. Оно вдруг стало холодным и жестоким.

— Так знай же, — сказала она внятно, пристально вглядываясь в мои глаза. — Так знай же, что никогда больше ты не соединишься с женою. Никогда.

И тотчас же лицо ее опять стало женственным и нежным.

— Я не то говорю, не то, — пробормотала она, опускаясь на колени и ловя мои руки. — Ты, конечно, свободен... Но я умоляю тебя об одном... Подари мне еще три дня... И вот как... Пусть твоя жена думает, что я уехала из Рима. Я покину наш отель. Тетушку можно отправить в Россию. Ее проводит сеньор Джемисто. А я поселюсь на три дня где-нибудь под Римом, в окрестностях... Ты будешь навещать меня. Это будут наши последние три дня. Хорошо? Ты согласен?

— Согласен, — сказал я не без некоторого колебания.

Но — увы! — в эти три дня случилось нечто неожиданное и ужасное.

Известие о том, что графиня Оксинская уехала из Рима, не успокоило моей жены. Она была по-прежнему молчалива и печальна.

Графиня Елена поселилась в одном частном итальянском семействе недалеко от виллы д'Эсте. Когда я в назначенный час явился к ней, она встретила меня, улыбаясь грустно и нежно. Я не заметил в ней обычного лукавства. Я был тронут ее покорностью и смущен необходимостью ее покинуть. На другой день, входя в дом графини, я был удивлен и поражен случаем, который я тогда склонен был истолковать как галлюцинацию. Мне показалось, что из-за уг-

ла дома вышел торопливо закутанный в плащ сеньор Николо Джемисто. А я ведь думал, что он вместе с тетушкой графини уехал в Россию...

«Если Джемисто не уехал из Рима, — рассуждал я, — значит, графиня меня обманула или он обманул графиню».

Это оставалось для меня загадкой. Когда я приехал на *последнее* свидание — это был третий день, — меня встретила на пороге дома рыжеволосая итальянка, хозяйка квартиры, и, волнуясь, сообщила мне, что русская графиня скоропостижно скончалась. Это известие поразило меня. Подозрения одно ужаснее другого пронеслись в моей голове. И, разумеется, мысль о самоубийстве графини и о том, что я являюсь виною этого несчастья, возникла у меня в душе прежде всего. Но тотчас же мертвая маска австрийца, как страшный кошмар, явилась передо мною и заставила усомниться в моем первом предположении.

Я попросил позволения войти в комнату покойницы. Несмотря на то, что нервы мои были напряжены чрезвычайно, я давал себе ясный отчет в моих поступках и в моих душевных движениях. С хладнокровием, не всегда мне свойственным, я наблюдал за собою. По-видимому, в душе моей совершился тот сложный, еще не разгаданный процесс, который называется раздвоением личности. В то время, как я переживал едва ли не самые значительные минуты моей жизни, двойник мой наблюдал за мною и даже *критиковал* мои мысли и поступки.

Вот почему я так точно могу рассказать обо всем, что я тогда делал и чему был свидетель.

Когда я переступил порог комнаты, где лежала покойница, я вдруг почувствовал, не успев еще ничего рассмотреть, что моя возлюбленная не умерла, что произошла какая-то странная ошибка, что смерть ее *мнимая* смерть... И, однако, все противоречило этой неожиданной мысли. В комнате была та ничем не нарушаемая тишина, какая бывает лишь в присутствии мертвых. Недвижная графиня лежала на высокой кровати, прикрытая пышным голубым одеялом. Ее руки были выпростаны — бледные и безжизненные. Легкая тень от трех свечей в канделябре падала на лицо покой-

ницы. Я осмотрелся кругом. Это была та самая комната, в которой я был накануне. На старинном клавесине в углу еще стоял огромный букет темных роз, который я привез графине. Их душный запах, смешанный с пряным запахом духов, наполнял всю комнату, и казалось, что этими тяжелыми благоуханиями пропитаны все предметы — и ковер, и подушка, на которой покоилась голова умершей, и кружево измятого пеньюара, брошенного в кресло у ног графини, и раскрытая книга на столе, и задернутые наглухо шторы...

Я запер за собою дверь, чтобы остаться наедине с моей возлюбленной, в кончину которой я все еще не верил почему-то. Я подошел к постели и взял безжизненную руку графини Елены с надеждою, что мне удастся почувствовать хотя бы слабый пульс. Но эта попытка оказалась тщетной. И дыхание, по-видимому, прекратилось навсегда. Лицо графини Елены было мертвенно-бледно, и губы, вчера такие горячие и живые, были теперь безнадежно сомкнуты. Я прижался к холодной груди моей возлюбленной, но напрасно старался я услышать биение сердца. И все-таки, несмотря на отсутствие каких бы то ни было признаков жизни, я тайно надеялся, что графиня Елена не умерла, а спит. Я опять вспомнил, что вчера передо мною возник, как могильный фантом, Николо Джемисто; и я невольно сопоставил его тайное возвращение в Рим с этою неожиданною смертью. Я был почти уверен, что виновником этой смерти или этого опасного летаргического сна был проклятый австриец, во власти которого, очевидно, находилась несчастная графиня...

Я сел в кресло и стал всматриваться в мертвое лицо графини Елены, все еще надеясь, что дрогнут эти губы и откроются глаза, сиявшие вчера так загадочно и так таинственно. Увы! Ничто не обличало жизни в этом все еще прекрасном теле, но обвеянном могильным холодом. Я не помню, сколько времени сидел я так и стучал ли кто-нибудь в запертую дверь. Станные мысли, не оправданные строгою логикою, беспокоили меня. Я не успел запомнить последовательное развитие этих мыслей, но одна идея врезалась мне

в память. Я напряженно думал о значении нашей воли как жизненной силы. Современный человек, рассуждал я, не замечает волевой энергии, подобно тому, как прежде он не замечал энергии электрической и не умел пользоваться ею. Если графиня не умерла, если она спит в летаргическом сне, ее можно было бы вернуть к жизни усилием воли, пока этот опасный сон не овладел ею в такой степени, когда уже нет возврата к земному существованию. Если Джемисто (я верил в это) погрузил графиню Елену в сомнамбулический сон и внушил ей, что она *должна умереть*, неужели я не смогу внушить ей, что она *должна жить*?

Я вспомнил некоторые утверждения оккультистов, известные мне из их сочинений, и решил приступить к опыту, ответственному и страшному. Сначала мне было трудно сосредоточить мое внимание. Воспоминания о моей вчерашней беседе с графиней, подробности наших отношений, ее жесты, голос — все это я видел, слышал, чувствовал, и это мешало мне отказаться от недавних впечатлений и погасить в себе мысли и ощущения. Но после некоторого усилия я умертвил в себе все внешние переживания и моя душа как бы наполнилась лишь одним желанием разбудить спящую... И это желание постепенно становилось все более и более острым и сосредоточенным. Наконец, я почувствовал какую-то необыкновенную легкость и окрыленность. Мне казалось, что в моей душе все спит и только одна сила бодрствует — *воля*.

Я не спускал глаз со спящей мертвым сном. Все вокруг меня погрузилось в какой-то синий туман. Я видел только бледное, неподвижное лицо графини и не переставая твердил:

— Любовь моя! Ты жива. Я хочу, чтобы ты была жива. Ты будешь жива! Ты будешь жива! Ты будешь жива!

То, о чем я расскажу сейчас, быть может, покажется невероятным, — и признаюсь, я сам не понимаю до сих пор, какой тайне я тогда был причастен, но — клянусь — я говорю истинную правду и твердо верю, что это не приснилось мне, а было на самом деле.

Графиня медленно подняла ресницы, и мои глаза встретились с ее глазами, такими печальными и усталыми, что я замер от стыда и отчаяния и ужаснулся того, что посмел нарушить ее предсмертный, ее последний сон.



Вдруг мне почудился едва уловимый ее вздох и полувнятный шепот:

— Ты мой? Ты ведь мой?

Темный страх охватил мое сердце. Постыдная слабость мною овладела. Сознание мое затуманилось. И тотчас же, как только погасла моя воля, голова графини тихо склонилась, закрылись ее глаза, и вдруг стало очевидным, что она уж не проснется никогда.

Я упал на колени, я приник губами к ее мертвой руке, не зная, что делать.

— Проснись! Проснись! — шептал я сумасшедшие слова, но я уже не верил в то, что она проснется.

Шатаясь, я едва добрался до двери и позвал хозяйку. Но, к моему удивлению, передо мною стоял Джемисто.

— Ага! Вы не уехали! — сказал я, не подавая ему руки.

— Сеньор! — пробормотал он, не обращая внимания на мое восклицание. — Не возьмете ли вы себе на память собачку графини? Я, право, не знаю, что с нею делать...

У его ног в самом деле вертелась Диу-Миу — та самая японская собачка, которая повсюду следовала за своей хозяйкою.

— Я беру ее, — сказал я рассеянно, и она, как будто угадав мою мысль, бросилась за мною и прыгнула в мой экипаж, когда я вышел из дома.

Я во всем признался моей жене. Всю ночь я стоял на коленях перед нею и говорил бессвязно о наваждении, о любви и о смерти.

На рассвете я ушел в мою комнату, и за мною вбежала Диу-Миу, которая странными, все понимающими глазами посматривала иногда на меня. Мне не пришлось заснуть и утром. Едва сомкнулись мои глаза, как я услышал слабое повизгивание Диу-Миу. Я посмотрел на нее. Она была в ужасном смятении. Ее расширенные глаза были устремлены на портьеру. Хоолок дрожал на голове. Она явно чувствовала чье-то присутствие за порогом комнаты. Я молча наблюдал за нею. Вдруг поведение ее изменилось. Недоверчивое и пугливое повизгивание сменилось негромким радостным лаем. Она бросилась к кому-то невидимому, кто вошел в комнату. Она ласкалась к нему. Она терлась у чьих-то незримых ног. Ее кто-то ласкал привычною рукою.

Я не смел дышать от ужаса. И эти галлюцинации собачки продолжались не менее часа, пока солнце не залило комнату своим все побеждающим светом.

На другой день Диу-Миу пропала. Я тщетно искал ее и делал публикации в газетах, обещая нашедшему щедрое вознаграждение.

Мы уехали с женою в Россию.

Я люблю мою жену нежнее, чем прежде. Но мы живем теперь как брат и сестра. А когда в минуту страсти я стою на коленях и говорю моей жене «люблю», я слышу чей-то тихий голос: «Ты мой! Ты ведь мой?» И тогда я — неверный — не смею целовать ноги моей верной жены.





СТРАШНЫЙ ПЛѢНЪ

I



не тридцать два года. Многие завидуют моему здоровью и моей силе. Железный прут с диаметром в два сантиметра я завязываю, как галстук. Я прекрасный стрелок и дерусь на рапирах, не зная соперников. Культурные сокровища мира мне доступны. Я владею в совершенстве пятью европейскими языками. Путешествия были моей страстью в течение семи лет. Я побывал в Нью-Йорке и Чикаго, бродил по Южной Америке, охотился в Африке на львов, склонял мою голову перед священными изображениями Будды в таинственной Индии, наслаждался изысканною игрою японских актрис на их родине, слушал заклинания шаманов на северном побережье России... Надо ли говорить о том, что я изучил всю Италию? Я подолгу жил в Венеции, зачарованный пышною прелестью Веронеза, мрачною роскошью Тинторетто, тонким изяществом Карпаччио... Я с увлечением занимался наукою в Берлине и отдал дань моего восторга дивному и сумасшедшему Парижу. Я разгадал также красоту католической Испании, «нищей и золотой», дикой и великолепной вместе с тем.

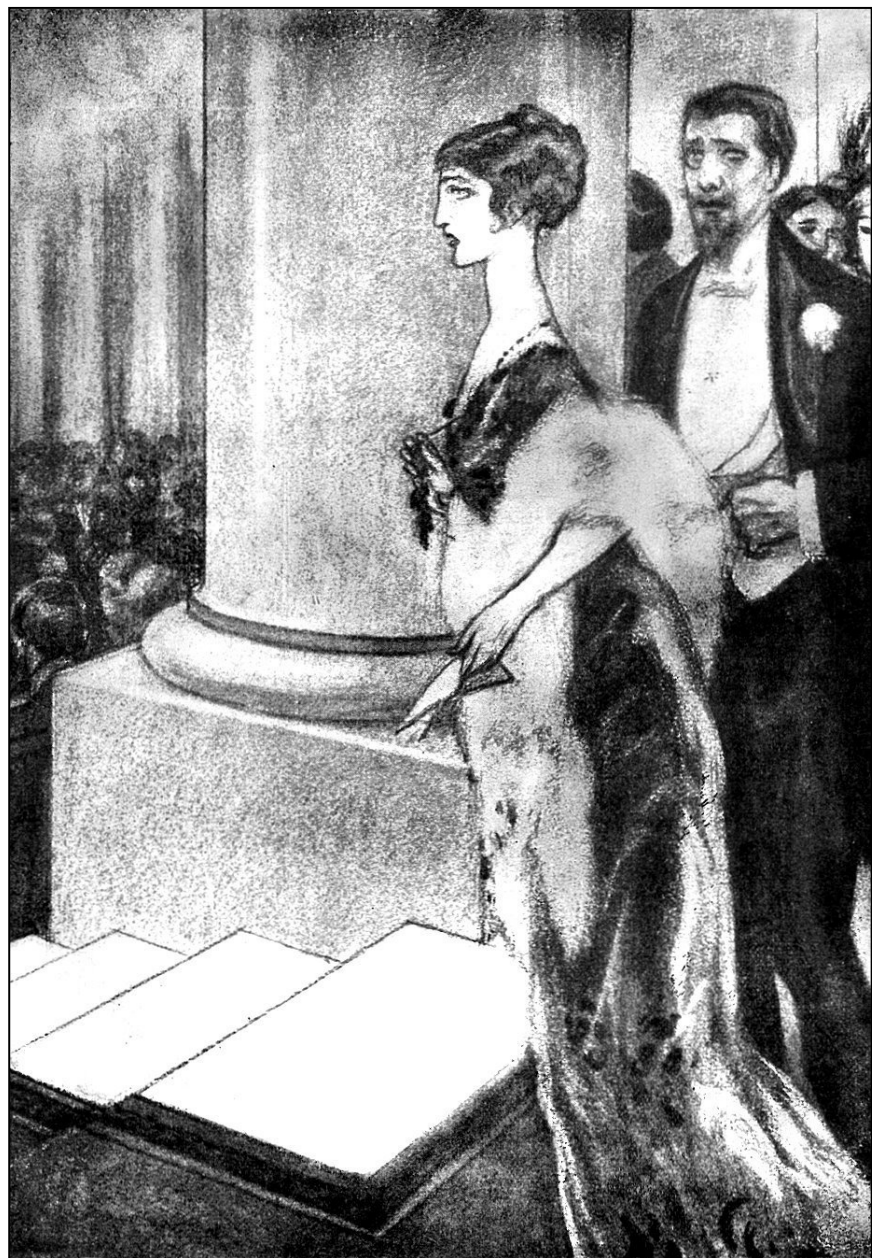
И я богат, кроме того. Получив большое наследство, я пригласил несколько юристов, техников и специалистов по финансам для приведения в порядок моих дел, и к тому времени, к которому относится мое повествование, уже выяснилось, что продав мои имения на Юге России, нефтяное дело на Кавказе, золотые прииски в Сибири и заводы в Западном крае даже на условиях для меня наименее выгодных, я все таки получу около ста сорока миллионов рублей. Кроме того, в Парижском и Лондонском банках у меня лежало сто семьдесят миллионов. Итак, у меня около двенадцати миллионов годового дохода.

Но счастлив ли я? Увы! На этот вопрос я должен ответить отрицательно... Да, несмотря на молодость, здоровье, богатство и свободу, я мучаюсь и думаю непрестанно о самоубийстве. И лишь мысль об ответственности и перевоплощении, о чем так убедительно и мудро говорит *Плотин*, заставляет меня медлить, и я не решаюсь на крайний и последний опыт.

Я страдаю, потому что та, которую любил я и которая меня любила, отказалась соединить свою судьбу с моею, по крайней мере, здесь, на земле. Так решила она, графиня Ксения Лясковская, под влиянием обстоятельств необычайных и почти невероятных.

До сих пор имя Ксения звучит в моем сердце, как музыка, и едва ли не каждую ночь я вижу во сне эту девушку, ее лицо, ее стройный стан, ее руки с тонкими и нежными пальцами. Я не знаю, красива ли графиня Лясковская. Быть может, ее синие глаза *слишком* велики, быть может, ее зрачки *неестественно* расширены. Рисунок ее профиля не совпадает с каноном античной красоты. Ее грустные и утомленные губы всегда внушали мечты о поцелуях, мучительных и дурманных.

И, однако, я не знал существа более пленительного, чем эта синеглазая и рыжеволосая графиня. Я назвал ее *существом*, потому что порою мне казалось, что в ней заключено какое-то *сверхчеловеческое* начало. В иные мгновения я даже верил, что в ее душе живет какой-то обольстительный *демон*.



Ее строгое целомудрие было вне подозрений, ее чистота вовсе не казалась мне наивною, и я был убежден, что графиня с острым любопытством исследует человеческие сердца и прекрасно понимает заключенные в них тайны злого порока и низкой страсти.

Да, я был влюблен в графиню Ксению.

Когда я в первый раз увидел ее в концерте, когда она при торжественных звуках оратории Баха вошла в залу легкою тенью, я был ослеплен влажным блеском ее глаз, и с тех пор ее образ возникает передо мною, и в нем, как в магическом стекле, я вижу весь мир — и зыбкий пепел облаков, и волшебное озеро с дремлющим лебедем среди камышей, и белокурого ребенка на берегу, и нежную зарю, и пугливые ночные призраки, убегающие во мрак...

Меня в тот же вечер представили графине Ксении. Я был восхищен ее умом, ее тонким вкусом, ее несомненной и совершенной музыкальностью. На другой день, когда я был у нее, в доме ее брата Адама, я убедился в том, что они, брат и сестра, принадлежат к одному из тех аристократических родов, которые из поколения в поколение создают перемененно то людей с изысканным умом и талантливых необычайно, то людей слабых и злых, вырождающихся и предназначенных к гибели.

Если Ксения Ляковская поразила меня чарами своих дарований и своим характером, ее брат, напротив, изумил меня своим извращенным вкусом, отсутствием нравственного чувства и порочным выражением глаз.

Он был похож на аристократов Ван-Дейка, утомленных, пресыщенных и уже неуверенных в своем праве господствовать и угнетать. Он был, очевидно, ленив и ничего не прибавил к той внешней образованности, которая обязательна для родовитых людей в дни их юности.

Графиня Ксения не была похожа на брата. Ее обширные знания удивили меня. Она повела меня в свою библиотеку, и я увидел там множество прекрасных книг, о которых графиня рассуждала свободно и мудро, с уверенностью, так редко свойственной женщинам. Я обратил внимание на то, что в одном из шкапов стоят в драгоценных пергаментных

переплетах рукописи розенкрейцеров, творения неоплатоников, «De arte cabalistica» Рейхлина, «Equus Albus», «Doctrina vitae» и другие сочинения Сведенборга...

Заметив, что я внимательно рассматриваю эти книги, графиня отперла шкаф и вынула одну из больших тетрадей в массивном переплете.

— Эта рукопись включает в себе особые таблицы с изображением знаков и символов розенкрейцеровского братства, — сказала она, перелистывая желтые листы...

На одной из страниц желтой тетради я увидел символическое изображение Мировой Души в обличье женщины. На полях были точно обозначены на латинском языке эмблематические наименования всех частей тела Вечной Женщины, *становящегося абсолютным*, как думают многие оккультисты.

— Мой отец изучал теософическую литературу всех времен, — сказала графиня, заметив, что я заинтересовался книгами ее покойного отца.

— Впрочем, — прибавила она, улыбаясь, — он изучал все эти рукописи и книги, как историк, не входя в обсуждение по существу самых интересных вопросов. Я иначе отношусь к этой теме.

Я стал жадно расспрашивать графиню об ее оккультных сведениях, и она призналась мне, что *слова и мысли* всегда стоят на втором плане в этой сфере познания и что внутренний опыт и послушание учителю самое необходимое и существенное — то, без чего нельзя подвинуться вперед по лестнице, ведущей нас к постижению великих тайн.

— Так будьте же вы моей водительницей на путях тайноведения, — воскликнул я в искреннем порыве.

— Я подумаю об этом, — сказала графиня серьезно и встала, как бы давая мне понять, что беседа наша окончена.

Прощаясь, она крепко сжала мою руку и задержала ее в своей горячей маленькой руке — не без умысла, должно быть.

— Я подумаю о вас, — сказала она, пристально вглядываясь в мои глаза.

II

Я стал частым посетителем дома Лясковских. И когда весною граф и его сестра уехали в Италию, а я, в силу неожиданных обстоятельств, вынужден был провести три месяца в Лондоне, мною овладела глубокая тоска по графине Ксении. Единственным утешением для меня была мысль, что осенью я вновь ее увижу в майоратном имении Лясковских, куда меня пригласили они с чрезвычайным радушием. Я был польщен благосклонностью ко мне графини и, признаюсь, несколько удивлен тем, что ее брат любезно присоединился к выраженному сестрою желанию видеть меня осенью в их деревенском доме. Любезность графа Адама удивила меня потому, что я вовсе не скрывал моего к нему отношения, которое питалось недоверием к его нравственным качествам и прямым отрицанием едва ли не всех его суждений о мире и о людях, которые решительно не совпадали со мнениями его мудрой сестры.

Итак, в августе месяце я поехал не без волнения в поместье Лясковских. Пустынные поля, спавшие тяжелым сном, дикая заросль и мертвые озера, мимо которых мне пришлось ехать от станции до усадьбы, внушили мне тихую грусть, а сама усадьба, когда она неожиданно возникла перед моими глазами, поразила меня своею суровою и строгою красотою. Я не нашел в ней обычных в деревне построек, где всегда чувствуешь сельский быт, уютный и приятный. Но зато замок Лясковских был по-иному прекрасен. Огромный и мрачный, он, казалось, заключал в себе немало тайн, и его великолепие было и значительно, и страшно. Древние камни повлияли странно на мою взволнованную душу, и я вошел в этот дом, предчувствуя, что с ним будет связано в моей жизни нечто важное.

Меня встретил старый дворецкий и провел в комнату, заранее приготовленную. Он объяснил мне, что граф уехал на охоту дня на три, а графиня дома и просит меня к завтраку, который скоро будет готов. Я почувствовал радость при мысли, что я увижу графиню одну и брат не будет раз-

дражать меня своим холодным цинизмом избалованного денди.

Признаюсь, когда я вошел в столовую и графиня поднялась и пошла мне навстречу, протягивая руку и приветливо улыбаясь, мое сердце стучало сильнее и торопливее, чем когда-либо. Она была прекрасна в тот час. День был прохладный, и на ней было белое суконное платье, прямое, с небольшим вырезом на груди, с короткими рукавами, украшенное серебряною вышивкою. На плечах у нее был соболей палантин. Золотые волосы ее были зачесаны в один большой узел, как у гречанок на строгих рисунках, украшавших древние вазы.

Как был необычаен голос графини! С каким наслаждением я слушал ее беседу! Графиня Ксения, поверяя мне свои глубокие и мудрые мысли о божественности мира, о гармонии вселенной, об очаровании страданий, о значении нашей бессознательной жизни и о смысле любви, оставалась в то же время женственной и нежной, пленительной и скромной. Ее *мудрость* ничего общего не имела с *образованностью* современных женщин, отказавшихся от своего женственного начала во имя внешнего равноправия с мужчинами.

После завтрака графиня повела меня в парк, который поразил меня так же, как и замок, своим мрачным великолепием. Старые гиганты-дубы, огромные сосны с кроваво-алыми стволами, могучие липы, серебристые ивы, лобзавшие тихую воду озера, неожиданно среди лесного лабиринта открывавшиеся цветники с дурманно пахнущими цветами; гроты и водопады, скалы и вереницы статуй, белых из мрамора и темных из бронзы; причудливые беседки, подобные восточным языческим храмам, и, наконец, таинственные тропинки, ведущие прямо из парка в глубину дикого и глухого леса: все это было похоже на рыцарскую сказку средневековья. Наконец, мы подошли к чудесному стеклянному дворцу, где помещалась оранжерея. Здесь увидел я всю мощную флору тропических стран. От теплой влаги воздуха, от пряных запахов и от вида соблазнительно нежных и порочно томных орхидей у меня закружилась голова.

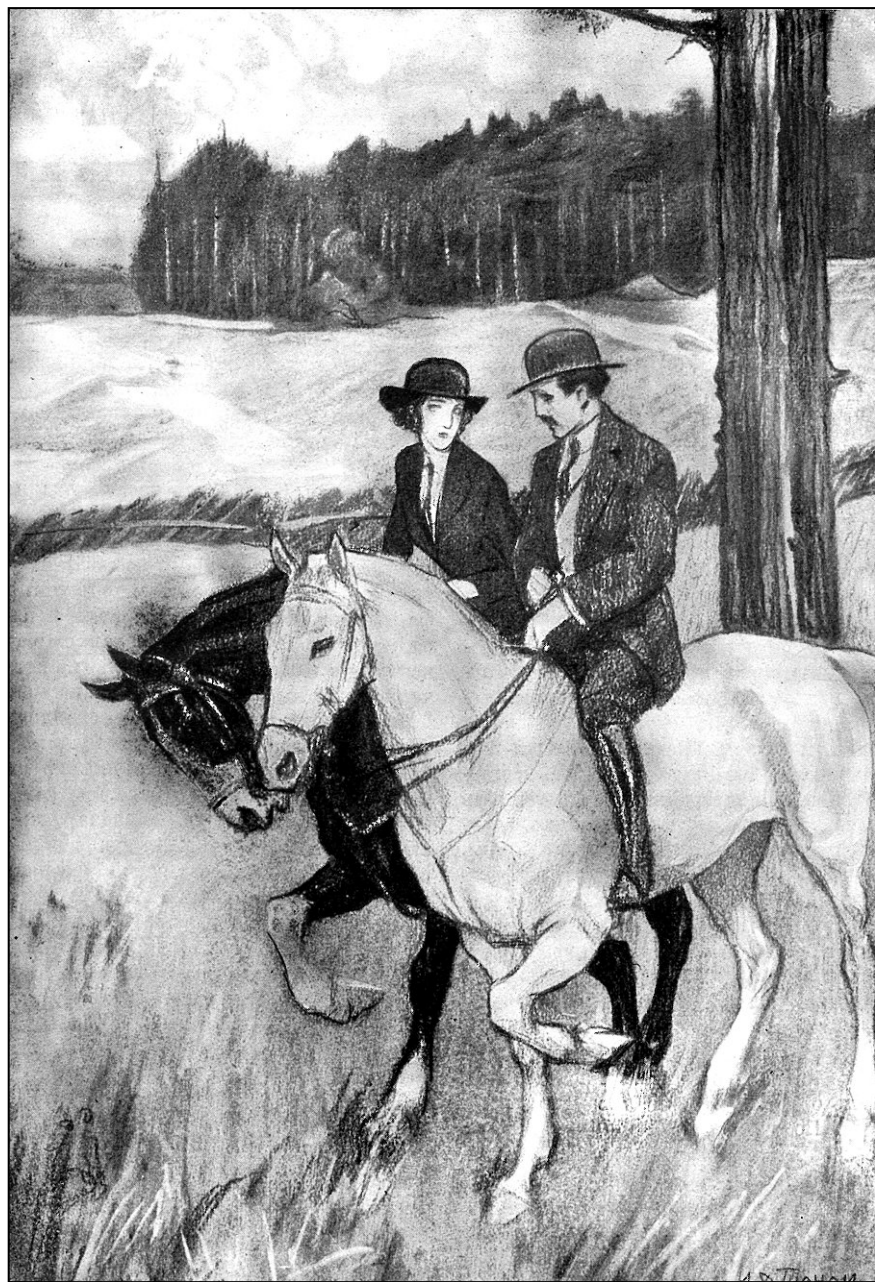
Но графиня Ксения чувствовала себя прекрасно среди этих пальм, оплетенных чудовищными паразитами, среди ядовитых пахнущих цветов и трав и всех этих водяных странных растений, раскинувших в бассейнах свои огромные и тяжелые листья, иногда круглые, как щиты. Она мне показывала то загадочную многолетнюю агаву, цветущую лишь однажды и всегда перед смертью, то таинственный цветок *Victoriae Regiae*, то напряженный арбутус с его обнаженным розоватым стволом, с какими-то жилами на нем, как будто наполненными тяжелою венозной кровью. В бассейнах и аквариумах плавали рыбы разнообразных окрасок и самых неожиданных форм — совсем плоские, со сквозными боками; крошечные и, однако, снабженные длинными перистыми плавниками; змеевидные, сверкающие дивною чешуею — почти все с глазами внимательными и грустными, какие и должны быть, разумеется, у живых существ, обреченных на вечное молчание.

Графиня Ксения рассказывала мне о жизни этих существ и об условиях развития растений, удивляя меня основательным знанием зоологии и ботаники, причем естественнонаучные факты она освещала своеобразно и неожиданно, как будто бы она обладала еще каким-то знанием, которое уже не подчинялось методам физического анализа. Она нарисовала, кроме того, грандиозную палеонтологическую картину, и мне казалось, что я заглянул вместе с нею в самое сердце космоса.

— Мир природный, — сказала она, — зачарованная гробница. Внешняя наука описывает подробно и точно ее размеры, положение, взаимное отношение частей, барельефы и читает начерченные на краях иероглифы. Но этого мало. В гробнице спит Бог. Надо разбудить его. Вот *меон*, то есть то, чего нет, ибо спящий Бог — не Бог. Наша душа, оплодотворяясь, рождает божественное. Так восстает божество от сна. Бог рождается от брака души с природою.

Я не без смущения спросил ее, откуда и как черпает она свои знания.

— У меня есть учитель, — сказала она тихо, — и, если хотите, я подготовлю вас к встрече с ним.



— Я прошу вас об этом, — воскликнул я, готовый на все.

В тот день мы уже не говорили с нею на эту тему. Перед обедом она пригласила меня совершить прогулку верхом, и мы два часа катались по полям. В черной амазонке графиня была не менее пленительна, чем в утреннем белом туалете. Я не мог скрыть моего восхищения, и, по-видимому, она не осуждала меня за это.

Мне казалось, что в мире только двое — она и я: так тихо было в полях и так безлюдно.

III

Три дня мы привели в уединении. Никто не мешал нашим беседам. Я чувствовал, как с каждым часом все более и более подчиняюсь влиянию прекрасной Ксении. Ее взгляд на мир, ее представление о божестве и человеке казались мне убедительными. И я сознавал, что *моя воля* как бы растворяется в *ее воле*. Я не страшился этого сладостного плена. Напротив, все мое существо исполнено было восхищения и восторга, и если эти чувства по временам омрачались, то лишь от сознания, что Ксения сама не пожелает овладеть мною совершенно и до конца. Я страшился того часа, когда она откажется руководить мною и поручит меня кому-то иному.

Но вот на четвертый день приехал граф Адам Лясковский. Он любезно меня приветствовал, но в его словах и его жестах я заметил нечто *новое*, чего мне вовсе не приходилось наблюдать в нем до того времени. Я не мог определить, *что это такое*, но эта едва уловимая перемена возбудила во мне смутное предчувствие чего-то ужасного.

Однажды мы сидели с ним вдвоем на берегу озера. Я пристально вглядывался в его лицо и тщетно искал в нем сходства с сестрою. Лишь одни губы напоминали мне о кровных узах, которыми были связаны эти столь различные существа. Продолговатое, неприятно-бледное лицо графа Адама, его холодные серые глаза и какая-то ленивая надмен-

ность в самом выражении этих злых глаз всегда возбуждали во мне чувство, близкое к отвращению. Но теперь к этому тяжелому чувству присоединился еще безотчетный страх. Меня пугали неравномерно-расширенные зрачки графа, а также одна особенность его речи, которой я прежде не замечал. Граф путал иногда слоги. Так, вместо того, чтобы сказать «какая жара», он произнес «какая кара», и при этом не заметил своей ошибки. И эти два непонятные слова «какая кара» прозвучали для меня как что-то загадочное и страшное.

Впрочем, подобные «ошибки речи» случались нечасто в его разговорах, и он довольно внятно излагал свои мысли, несколько странные и неожиданные, однако, на мой взгляд.

Так, например, когда я выразил мое восхищение его родовым замком и чудесным парком, он пожал плечами и признался, что не понимает моего восторга.

— И замок, и парк *прежде* были очень хороши, — сказал он, — но *теперь* я не нахожу в них ничего хорошего... Напротив, они напоминают мне о минувших днях, когда наши деды в самом деле могли наслаждаться здесь... Мы лишены этого счастья... И меня раздражают и эти деревья, и эти камни...

Он произнес «и эти коревья», «и эти дамни».

— О каких наслаждениях вы говорите? — спросил я.

— О каких? О наслаждениях *властью*, — ответил он, усмехаясь. — Я только это и признаю. Мне нужны рабы. Ударить бичом — какое счастье.

Я не мог не воскликнуть в ответ на это циничное признание:

— Но ведь это безнравственно, граф, и бессердечно.

Он громко засмеялся, и лицо его как будто потемнело от этого зловещего смеха.

— Безнравственно? Я не знаю, *почему я должен быть нравственным*. Если когда-нибудь восторжествует принцип равенства, никто не будет наслаждаться. В былые времена, по крайней мере, наслаждались *некоторые*. Было бы глупо не стремиться к положению одного из этих счастливых.

Быть рабом или быть членом общества, где все равны — как это скучно.

— Нравственная чистота, — сказал я, бессознательно повторяя мысли графини Ксении, — нравственная чистота подготавливает нас к познанию мудрости. Мы должны сосредоточиться и настойчиво искать внутри себя *божественное* начало. Вне этого внутреннего опыта нет достойной жизни. А его достичь мы можем, лишь освобождаясь от порочных и злых желаний.

— Так рассуждает моя сестра, — усмехнулся он презрительно. — Этих женских выдумок я не признаю. Меня даже раздражают подобные мнения.

И вдруг, совершенно неожиданно, он прибавил:

— А вам нравится моя сестра? А? В ней что-то есть, черт возьми...

И он опять засмеялся.

В это время я заметил, что графиня Ксения идет к озеру и обратил на это внимание графа.

— А! Сестра! — сказал он, по-прежнему усмехаясь. — Если бы не эти ее сумасбродные идеи...

Он не договорил фразы.

Когда графиня подошла к нам, он вдруг обернулся к ней и небрежно пробормотал:

— Ты знаешь, я отпустил всех садовников... Рассчитал их. Затеи с цветами теперь не нужны, по-моему. Если бы у нас были крепостные, тогда иное дело... А эти наемники меня раздражают... И вообще, у нас слишком много слуг. Ты не думаешь? А?

Графиня с изумлением и тревогою смотрела на брата. Я был удивлен не менее ее странным распоряжением графа Адама. И в ту же минуту у меня явилось подозрение, которое, к сожалению, подтвердилось в конце концов.

IV

Наши отношения с графиней были подобны отношениям, которые возникают во время гипноза между врачом

и пациентом. И я, как больной, доверчиво подчинялся прекрасной Ксении. Но было *нечто*, разделявшее нас, и это мучило меня чрезвычайно. Графиня Ксения упорно внушала мне мысль, что я должен смотреть на нее, как на *сестру*. А я не мог оградить себя от иных желаний. В ней видел я не только сестру.

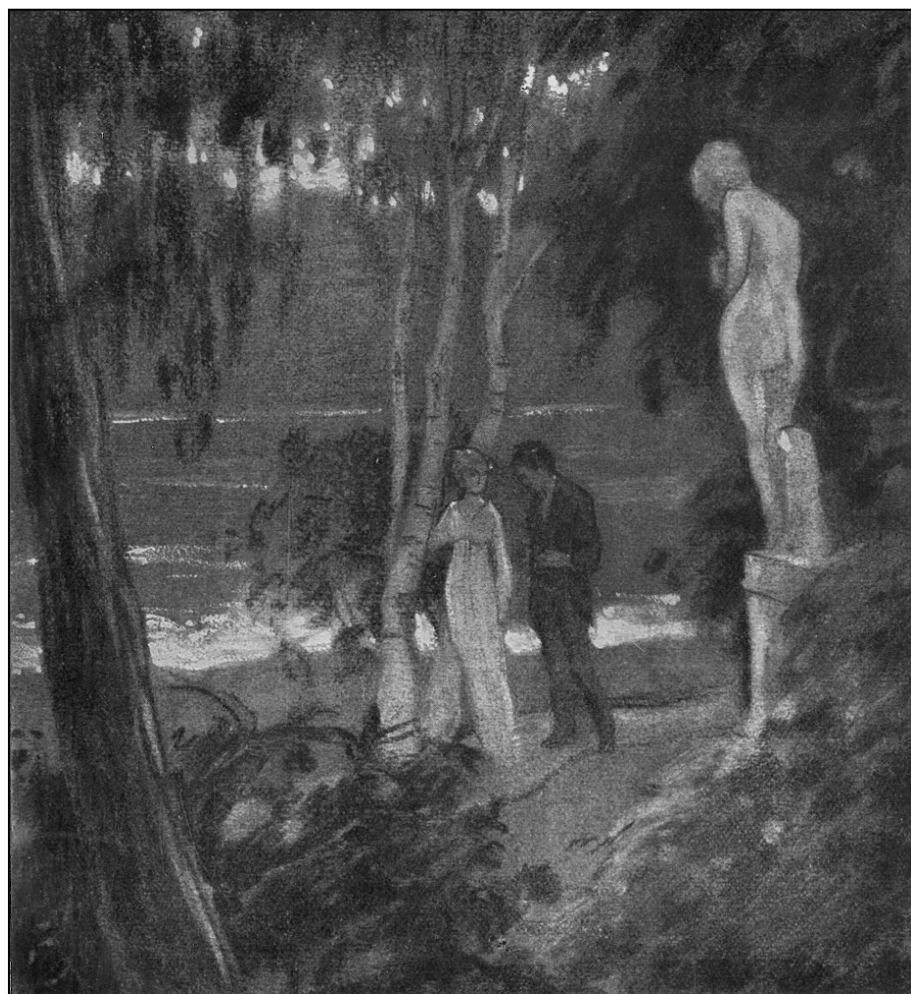
Однажды, когда мы вдвоем с Ксенией бродили по парку и очутились в глухом углу, где был полумрак от густых ветвей, где было влажно и дурманно и где тропинка заросла огромными папоротниками, у меня вдруг явилось непреодолимое желание сказать ей о моей любви. И я сказал.

— Я люблю вас, — сказал я, целуя ее руки. — Я люблю вас, и я не скрою от вас, что вы для меня не только мудрая и нежная сестра. Я слышу шаги ваши — и у меня блаженно кружится голова. Ваш и золотые волосы и ваши непонятные глаза напоминают мне какую-то древнюю сказку. С тех пор, как я полюбил вас, я живу, как во сне. И весь мир — это лишь как лестница к небу, по которой вы идете так царственно и так уверенно. Я знаю, что мудрая любовь уже бесстрашна, но я не достиг желанной вам высоты. Я еще пленен землею. Что делать! Что делать! Я изнемогаю от страсти. При мысли, что я мог бы коснуться губами ваших колен, если бы вы не оттолкнули меня, я схожу с ума. Вы говорили мне, Ксения, что надо преодолеть в себе желание всего среднего и раз навсегда избрать путь зла или добра, что лишь предельные устремления ведут нас к утверждению личности. И вот я чувствую, что не в силах бороться с моими желаниями... Значит, я должен умереть. Не правда ли?

— Нет! Нет! — прошептала она, не отнимая своей руки. — Не надо смерти... Не надо!.. Вы очень мучаете меня. Ваше признание меня волнует. Но умоляю вас: не торопите меня. Я сама чувствую, что меня покинули некоторые мои *покровители*. Дайте мне сосредоточиться и найти самое себя.

Она отстранила меня и торопливо пошла прочь.

В течение следующих пяти дней мне не удалось остаться наедине с Ксенией, и ничто не изменилось в наших от-



ношениях, но произошла значительная перемена во внешних обстоятельствах нашей жизни. Несмотря на мою влюбленность в графиню, я не переставал внимательно следить за поведением графа Адама, который внушал мне тайный страх. Я убедился, наконец, в том, что граф *ненормален*. Правда, еще не было объективных доказательств в пользу моего предположения, если не считать замеченной мною афазии (неясность речи) и неравномерно расширенных зрачков, но первые признаки маниакального возбуждения были уже налицо, как мне казалось. Кроме того, меня поражали еще его некоторые странности. Так, например, он постепенно, без видимой причины, удалял слуг из замка. Рассчитав садовников, он под каким-то предлогом отпустил на родину кучера, потом двух конюхов, так что в огромной конюшне остался лишь один неопытный юноша, который, конечно, не мог справиться с лошадьми, породистыми и сильными. Граф рассчитал также двух лакеев, и кушанья подавала на стол камеристка графини. Я понял, что в сумасшедшей голове графа созрел какой-то адский замысел. Вырождающийся аристократ, очевидно, желал удалить из замка лишних свидетелей и мечтал безнаказанно совершить какое-то преступление. Кроме того, было очевидно, что он ревновал меня к своей сестре.

На шестой день после моего объяснения с графиней, я встретил ее в библиотеке. Она писала в это время сочинение о Филоне Александрийском и об авторе четвертого Евангелия. Мы беседовали с нею около часа на теософские темы и, между прочим, заговорили об учении Филона о сновидениях, изложенном им в его трактате «De somniis».

— Знаете, почему я заговорила о видениях? — сказала графиня. — Сегодня ночью мне приснился странный сон. Я видела тигра, который вошел будто бы в мою спальню. У зверя были глаза моего брата... Я закричала и проснулась...

Я постарался перевести разговор на другую тему. Но беседа наша не клеилась. Тщетно старался я вникнуть в греческие тексты, на которые ссылалась графиня. Я чувствовал ее близость, ее глаза, ее руки... И когда мы склонялись над книгой, я ощущал ее дыхание и тонкий запах ее духов.

Мне казалось, что она тоже волнуется и чего-то ждет. И вот, когда она, перевертывая листы книги, нечаянно коснулась своею рукою моей руки, я вдруг, худо сознавая то, что я делаю, обнял ее и прижался моими опьяненными губами к ее губам. Она не оттолкнула меня. Ее губы были, как огонь. Я забыл обо всем, и для меня весь мир в тот миг был в ней одной.



И вот, когда я, еще пьяный от долгого и блаженного поцелуя, поднял глаза, *передо мною возникло лицо графа Адама*. Он незаметно вошел в библиотеку и стоял в двух шагах от нас. Он смеялся. Я никогда не забуду этого смеха. Сколько порочного, злого, жестокого и бесстыдного было в этом лице, в этих искаженных губах!

Графиня в ужасе закрыла лицо руками. Если бы граф внезапно не перестал смеяться, я, быть может, убил бы его в ту минуту.

— Я пришел за вами, — сказал он совершенно спокойно, как будто бы он ничего не видел. — Я давно хотел вам показать залы в верхнем этаже замка... Полно вам заниматься книгами. Я покажу вам удивительное оружие и великолепные кубки. Наши предки умели сражаться и умели пить, черт возьми...

— Оружие? Покажите, пожалуйста, — проговорил я тихо, предполагая, что он желает переговорить об условиях дуэли.

Но когда мы вышли из библиотеки и поднялись по винтовой лестнице в верхний этаж, граф Адам стал рассказывать мне с видом знатока о драгоценных коллекциях, собранных его дедом и прадедом. Казалось, что он не придает никакого значения тому, что его сестра была в моих объятиях.

Мы вошли в огромную залу. В самом деле дивные мечи, щиты, ятаганы, сабли, шпаги, пики, копья, стрелы и разнообразные доспехи украшали высокие стены этой великолепной залы. Я не знаток старинного оружия, но смертоносная сталь, обделанная слоновою костью и золотом, вероятно, могла бы заинтересовать меня в иные часы. Но тогда я равнодушно смотрел на тонкую резьбу искусных мастеров и на блеск драгоценных камней. Еще на губах моих горели поцелуи графини, и я был в той сладостной лихорадке, которая изменяет все существо наше, влияя чудесным образом на ум и на сердце.

Вдруг лицо графа опять исказилось и он засмеялся. Я вздрогнул и нахмурился.

— Сейчас он предложит поединок, — подумал я. — Тем лучше... Надо выяснить наши отношения, наконец...

Но и на этот раз я ошибся.

— Почему вы смеетесь, граф? — спросил я холодно, но вежливо.

— Почему смеюсь? Я вспомнил, что у меня есть еще кое-что любопытное... Одна старинная забава... Пойдемте сюда. Я покажу вам.

— Может быть, в другой раз? — сказал я, чувствуя, что общество графа утомляет меня.

—Нет, нет... Непременно сейчас... Это здесь, в башне...

Он торопливо отпер большим ключом дверь и жестом пригласил меня идти за ним. Мы поднялись по узкой и очень крутой лестнице на одну из башен и очутились в квадратной комнате, освещенной одним окном. В этой комнате стояло одно только кресло. И вообще она ничем не была бы примечательна, если бы не решетки из крепкого железа, которыми были отделены две просторные ниши, примыкавшие к этой башенной комнате с двух сторон. Ниши помещались одна против другой, и было непонятно, зачем они заперты этими массивными решетками. Каждая решетка была прикреплена к стене толстыми петлями и замыкалась огромным засовом, по-видимому, тяжести немалой.

— Вот, войдите сюда, — сказал граф, отпирая решетку и указывая мне на углубление в стене.

— Зачем? — спросил я, недоумевая.

— Я хочу вам показать старинную забаву, — засмеялся граф.

Смутное подозрение опять возникло у меня в душе, но я не хотел обнаружить мое смущение и мою робость.

— Что же дальше, граф? — сказал я и вошел в нишу.

— Там есть потаенная дверь. Постучите в стену.

Я доверчиво повернулся к стене, чтобы исполнить то, о чем меня попросил этот возненавидевший меня сумасшедший. Эта неосторожность стала для меня фатальной. С тяжелым грохотом негодяй захлопнул решетку и мгновенно задвинул засов. Я был в плену.

— Вы называете это старинной забавой? — спросил я, чувствуя, что сумасшедший вовсе не шутит.

Он засмеялся страшно и отвратительно, как всегда.

— Я вас навещу и очень скоро, — сказал он, смеясь, и вышел из комнаты.

Я услышал, как он застучал каблуками по лестнице.

Мысли — одна ужаснее другой — пронеслись у меня в голове.

«Графиня Ксения во власти этого хитрого безумца! — думал я. — Я ничем не могу ей помочь. Мне самому грозит

гибель. Надо быть ко всему готовым. Так вот почему так упорно этот человек старался удалить всех слуг и служанок. В доме остались старик-повар и камеристка графини — больше никого. И почему знать — быть может, и их уже нет в замке».

Вероятно, прошло не более десяти мучительных минут. Я услышал где-то далеко придушенный вопль. Прошло еще минут пять-семь, и на лестнице застучали каблуки графа. Он шел медленно, как будто спотыкаясь. Я затрудняюсь передать мое отчаяние, когда распахнулась дверь и я увидел сумасшедшего графа, который тащил, смеясь и задыхаясь, свою сестру, связанную и, по-видимому, потерявшую сознание. Он бросил ее в кресло. Глаза ее были закрыты. Она не шевелилась. Тогда граф развязал полотенце, которым она была связана. Но графиня все еще не приходила в себя.

Как изменились теперь манеры и жесты этого подлинного когда-то аристократа! Что-то обезьянье было в его ухватках. Он, кривляясь, распахнул вторую решетку и втащил в нишу графиню Ксению. Негодяй не забыл заложить засов. Потом он развалился в кресле, торжествуя и наслаждаясь.

— А! Графиня! Вы пришли в себя? Поздравляю, — крикнул он, когда графиня очнулась и с ужасом увидела меня за решеткою в таком же плену, как она.

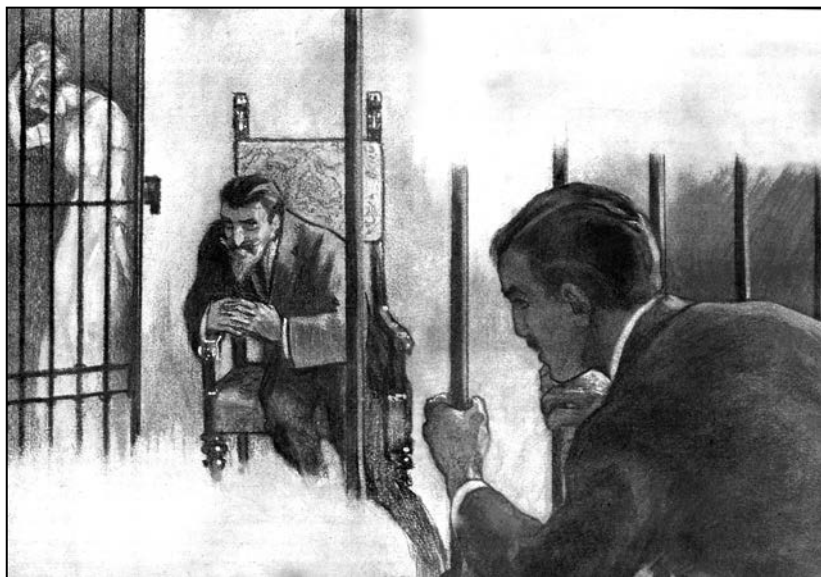
— Автор нашей семейной хроники, — продолжал граф, — рассказывает подробно, как за этими решетками сидели неверная жена Станислава Ляковского и ее дерзкий любовник. Теперь пришла моя очередь позабавиться. Вам придется, господа, посидеть здесь довольно долго. В замке я один теперь.

И он дико захохотал.

V

В течение семи дней мы — графиня и я — были пленниками этого зверя. Физические муки голода, которые мы

тогда испытали, были ничтожны по сравнению с муками нравственными. Долгие часы граф проводил в кресле, восхищаясь нашим бессилием и стараясь нас всячески унижить. Он смеялся над религиозным чувством своей сестры и над моею любовью. И его слова были столь же бесстыдны, как и его мысли. Мы были невольными свидетелями его кощунственного бреда. И он прерывал свои богохульства лишь для того, чтобы издеваться над нами, предлагая нам совершить *чудо* и выйти из темницы подобно апостолу.



Он приносил наверх рукописи розенкрейцеров и, указывая на некоторые символические знаки, произносил неповторяемые мерзкие слова, которые были не менее ужасны, чем изречения самых гнусных сатанистов.

На третий день мы уже впали в странное оцепенение и ждали своей участи, не пытаясь пробудить разум графа. Когда он покидал нас для того, чтобы пировать в одиночестве, я падал на колени и умолял графиню простить меня,

чувствуя, что моя неосторожность была причиною нашего страшного плена. Она старалась успокоить меня. Но ее молчаливость и глубокая задумчивость пугали меня чрезвычайно.

У меня все-таки была надежда на освобождение, потому что отсутствие слуг не могло не привлечь внимания соседних крестьян. Рано или поздно нас должны были освободить. Но когда — вот вопрос. И не успеет ли граф совершить новое злодейство? — так думал я, страшась не за себя, а за графиню.

Нас освободили, однако, ровно через семь дней. Слухи о том, что граф сошел с ума, распространились повсюду, как я и предполагал. Пришли люди в замок, и жизнь наша была спасена.

Но — увы, — мне не нужна теперь моя жизнь. Этот плен и это вмешательство зверя в нашу любовь странным образом повлияли на душу графини Ксении. Она решительно отвергла мою мольбу о браке и, поручив мою судьбу одному из братьев, удалилась. Куда? О, если бы я знал это! Я даже не знаю, жива ли она теперь, а когда я спрашиваю о ней моего руководителя, он отвечает мне загадочно, что она не умерла, но *предвосхитила смерть*.

МОРСКАЯ ЦАРЕВНА

I

Дом, где я поселился, стоял под скалою, почти отвесною. Наверху росли сосны, молчаливые и недвижные. И лишь в бурю казалось, что они стонут глухо, и тогда ветви их склонялись, изнемогая. А внизу было зеленое море. Во время прилива от моего дома до моря было не более пяти сажень.

Я жил во втором этаже, а в первом жили мои хозяйки—мать и дочь. Матери было лет семьдесят, а дочери лет пятьдесят. Обе были бородаты. Хозяйская дочь напивалась каждый день и тогда обычно она подымалась наверх и беседовала со мною, утомляя меня странными рассказами.

Старуха уверяла, что она внучка одного знатного и богатого человека, но злые интриганы отняли у нее наследство и титул. Трудно было понять, о чем она говорит.

Иногда старуха спрашивала у меня, не боюсь ли я чего-нибудь.

— Не надо бояться, — говорила она, странно посмеиваясь, — не надо бояться, сударь. У нас здесь тихо и мирно. Правда, изредка бывают ссоры, но все скоро кончается по-хорошему. Рыбаки, знаете ли, народ вспыльчивый, но добродушный в конце концов, уверяю вас...

Я не боялся рыбаков, но старуха внушила мне странную робость. Когда я, возвращаясь вечером домой, находил ее пьяной на лестнице и она хватала меня за рукав, бормоча что-то несвязное, у меня мучительно сжималось сердце и, войдя к себе в комнату, я дрожащей рукою зажигал свечу, страшась темноты.

Итак, я жил на берегу моря. По правде сказать, я очень тосковал в те дни. Порою мне казалось, что у меня нет души, что лишь какие-то бледные и слепые цветы живут во мне, благоухая, расцветая и увядая, а того, что свойственно людям — *понимания и сознания* — во мне нет.

Я жил, как тростник, колеблемый ветром, вдыхая морскую влагу, греясь на солнце и не смея оторваться от этого илистого берега. Это было мучительно и сладко.

Но пришел час — и все переменялось во мне.

Однажды во время прилива я пошел на пляж, где было казино и по воскресеньям играл маленький оркестр.

Я сел на берегу и стал смотреть на купающихся.

Из кабинки вышел толстый человек с тройною складкою на шее; на нем был полосатый пеньюар; толстяк тяжело дышал, осторожно наступая на гравий. Потом вышли двое юнцов лет по семнадцати; они были в черном трико; и я с удовольствием смотрел на их сильные упругие ноги и на смуглые плечи. Пожилые дамы, в просторных купальных костюмах, спокойные и равнодушные; худенькие девушки, слегка смущенные наготою и взволнованные соленым морским ветром; мальчики и девочки, то шаловливые, то робкие: мне нравилась эта пестрая толпа среди белых фалез...

Я решил купаться. Когда я, надев трико, выходил из кабинки, пара зеленовато-серых глаз встретилась с моими глазами, и чья-то стройная фигура, закутанная в пеньюар, скользнула мимо меня и скрылась в толпе.

Мне показалось, что где-то я видел эти морские глаза.

Купаясь и плавая, я время от времени смотрел на женщин, которые вереницей стояли вдоль канатов, забавно присядая в воде, жеманничая и громко вскрикивая, когда волна, увенчанная седыми кудрями, обрушивалась на них и покрывала их головы своим зеленым плащом. Среди этих женщин не было той, чьи глаза встретились с моими, когда я был на берегу.

Наконец, я увидел ее. Она проплыла мимо меня совсем близко — гибкая и скользкая, как рыба. Я видел прядь рыжих волос, выбившихся из-под чепчика, линию шеи и руку, нежную и тонкую.

Потом, после купанья, когда я шел по мосткам в кабинку, я опять увидел зеленоглазую незнакомку. Она лежала на берегу одна, и мне было приятно, что никого нет около нея.

Я улыбнулся и прошептал:

— Морская царевна...

В тот день и небо, и море, и фалезы — все было прекрасно. И за обедом (я обедал не дома, а в пансионе г-жи Моррис) соседи мои казались мне приятными. С одним из них я даже разговаривал, чего раньше не случалось. Это был поляк Дробовский, молодой человек лет двадцати семи.

Мне не было с ним скучно, но его чрезмерная любезность и непонятные пустые глаза несколько смущали меня.

После обеда он пошел меня проводить. Какие у него были странные жесты и поступь! Всегда казалось, что он слегка танцует: он подымался на цыпочки и прижимал руки к груди.

Я спросил его, не знает ли он рыжеволосой дамы с зелеными глазами.

Он как будто бы испугался моего вопроса и, смутившись, забормотал:

— Нет, нет, я не знаю ее... Уверяю вас... Правда, я догадываюсь, о ком вы говорите, я заметил эту даму... Но, право, я не знаком с нею...

Ах, да, — воскликнул он, продолжая прерванный разговор, — вы сказали о славянской душе... Это верно. Мы очень порочны и ленивы — это верно, но согласитесь, что здесь, на Западе, у всех какие-то опустошенные сердца. И у этих французов нет сердечного опыта, какой есть у славян... Мы все исполнены предчувствий и томлений...

— А как вы думаете, — спросил я, — эта дама — она русская?

Он совсем смутился.

— Не знаю, не знаю, — сказал он, отвертываясь и краснея.

Мы простились и разошлись по домам.

На лестнице меня ждала старуха с фонарем — пьяная и страшная, как всегда.

Она гримасничала и смеялась без причины, провожая меня в мою комнату.

Просунув голову в дверь, она по обыкновению сказала что-то непонятное:

— Да благословит вас Господь, сударь. Пожалуйста, спите спокойно и ничего не бойтесь. Если вам приснится Морская Женщина, помяните св. Сульпиция или Деву Марию и ничего худого не будет. Не бойтесь, не бойтесь, сударь.

— Какая Морская Женщина? — сказал я с досадой.

— Ах, она приходит иногда, — опять рассмеялась старуха, широко открыв свой черный рот. — Иные называют ее Морскою Принцессой... Но вы, сударь, не бойтесь... И если она придет, тогда... Тогда... Не целуйте ее, сударь. У нее губы отравлены.

И она застучала деревянными башмаками, спускаясь по лестнице.

II

На другой день за столом г-жи Морис было решено устроить поездку в местечко Ф., где было когда-то знаменитое аббатство бенедиктинцев. В карете оставалось одно свободное место, и кто-то сказал:

— Госпожа Марсова выражала желание ехать в Ф. Надо сообщить ей о нашей поездке.

Я не знал, кто эта г-жа Марсова, но когда, после завтрака, мы усаживались в карету, я увидел мою зеленоглазую незнакомку: это была она.

Мы ехали мимо ферм, где полногрудые женщины, стоя на пороге своих красных домиков, громко разговаривали о погоде; мимо жирных и черных полей, где работали загорелые парни в синих куртках; мимо тучных лугов, на которых паслись сонные коровы с большими бубенцами и пугливые тонконогие козы.

Наши спутники неумолчно беседовали. Только я да зеленоглазая дама не принимали участия в общем разговоре.

Какое странное выражение лица было у этой дамы! Можно было подумать, что она не верит в то, что вокруг нее, в этот видимый мир. И как странно она улыбалась... Так улыбаются, должно быть, падшие ангелы, вспоминая свой свет-

лый рай.

В местечке Ф. мы осматривали фабрику, где готовят ликер; часа два бродили мы по лабиринту зал и коридоров, среди огромных бочек, в которых годами отстаиваются пахучие и пряные травы; в отделении, где ликер разливают по бутылкам, меня поразили молоденькие девушки с липкими и, должно быть, сладкими руками; эти девушки дрожащими пальцами брались за краны; очевидно, они были пьяны от воздуха, полного дурманным запахом.

— Как блестят глаза у этих девушек, — сказал я, обращаясь к рыжеволосой даме, с которой мне уже давно хотелось начать беседу.

— Да... Да... Я обратила внимание... У меня тоже кружится голова, — улыбнулась она лукаво и томно.

Мы разговорились. Через полчаса, когда мы шли через площадь в городской собор, принадлежавший ранее аббатству, она уже рассказывала мне о себе, о своей жизни... Но как-то неясно и загадочно.

— Вот уж полтора года, как я ничего не делаю. И мне не стыдно, представьте. Мне все равно теперь. Я целый день валялась на диване там, в Петербурге. Я даже книг не читаю.

— А прежде?

— О, прежде! Прежде меня все считали способной и деятельной. Я умела работать легко и весело.

— Почему же вы так изменились?

— Так... Не знаю... Я мертвая теперь... Я мертвая...

— Простите... Я не знаю вашего имени.

— Меня зовут Кетевани Георгиевна.

— Какое редкое имя...

— Великомученица Кетевани была кахетинской царицей. Моя мать из Грузии, а отец русский.

— Вы не похожи на грузинку. У вас волосы золотые.

— У меня волосы черные. Я их выкрасила. Вот уже три года, как я рыжая. Правда, такие волосы идут к моим глазам?

— Да... Да, — пробормотал я, чувствуя, что мне почему-то неприятно узнать, что эту женщину видели прежде иною.

— Как странно, — сказал я, — вы были веселой, у вас

были черные волосы... Теперь у вас золотые волосы и вы печальны... Я уже ревную вас к тем, кто видел ваши глаза и слышал ваш голос три года тому назад.

Кетевани Георгиевна засмеялась.

Наконец, мы пришли в собор. Это был огромный готический храм со старинными витро, с голубым сумраком под дивными сводами. Мы бродили среди колонн, наслаждаясь прохладой и тишиной.

Пришел священник в исповедальню, еще молодой, с грустными усталыми глазами. За ним поспешила молоденькая дама в трауре, которую мы ранее не заметили.

Как она волновалась, сжимая маленькими руками черный переплет молитвенника!

До меня долетел ее шепот:

— *Esprit-Saint, lumiere des coeurs... Ôtez le voile qui est devant mes yeux...*

— Ах, если бы я умела молиться, — вздохнула Кетевани Георгиевна не то с лукавством, не то с печалью.

Потом мы пошли в кафе; Дробовский сидел рядом с Кетевани Георгиевной и что-то рассказывал ей со свойственным ему пафосом. Он все вскакивал со стула и прижимал руки к груди.

Я не слышал, о чем они говорят, и мне было скучно.

Наконец, мы вернулись на площадь, где нас ожидал возница. Не успели мы проехать и одного километра, как стал накрапывать дождь. Большие рыжие тучи догоняли нас. По дороге, крутясь, мчались столбики пыли. И какие-то птицы, казавшиеся теперь синими, летали низко над землей с громкими воплями.

Мы спустили шторы в нашей карете. Дробовскому, который ехал на козлах, предложили войти внутрь. Стало тесно. Все сидели, прижавшись друг к другу. Я чувствовал колени Кетевани Георгиевны. И то, что сейчас гремит гром, темно и воздух насыщен электричеством, нравилось мне.

— Ах, я хотел бы так ехать дни и ночи, дни и ночи, — сказал я и невольно смутился — так странно прозвучали эти юношеские слова в моих устах: ведь на голове моей седые пряди и я уже устал жить.

III

В ту ночь случилась гроза, и буря завела свою дикую песню. Обе старухи, совсем пьяные, ходили, шатаясь, по лестнице взад и вперед. Они то и дело стучали ко мне в дверь. Я сидел за столом, не раздеваясь, но мне не было охоты разговаривать со старухами, и я им кричал, не отпирая двери:

— Что вам угодно, сударыни?

Они пришли спросить, не страшно ли мне. Они хотят меня успокоить: на доме громоотвод и молния не зажжет кровли.

— Благодарю вас, сударыни. Я не боюсь грозы.

— Но, может быть, сударь боится мрака и ветра? Мы можем на всякий случай дать ему еще одну лампу.

— При чем тут «мрак и ветер»? Мне не надо другой лампы, сударыни. Довольно с меня и одной.

— Как угодно, сударь. Хорошо, что вы дома, сударь. Мы очень боялись бы за вас, если бы вас не было дома.

Старухи так надоели мне, что я, наконец, надел шляпу и, преследуемый их причитаньем и вздохами, спустился вниз и пошел на берег.

Как бушевал океан!

Луна была на ущербе. Гроза прошла, по-видимому, но из глубокого мрака надвигались на нас полчища седых волн. Вздыхались валы, подобные диким яростным животным.

Зияли огромные пасти; подымались горбатые спины; развевались длинные гривы... Буря пела свою неистовую песню.

Далеко, за фалезами, горел маяк. На нашем берегу несколько темных фигур с фонарями бродило среди камней.

Рыбачки сидели уныло, прижавшись спиной к баркасам, которые стояли теперь в безопасности на берегу с подвязанными и убранными парусами. Только два баркаса не успели войти в гавань, и ветер держал их в открытом море, не позволяя приблизиться к нашей бухте. Их едва можно было различить в мраке.

На одном из камней стояла женщина. Ветер рвал на ней одежды. Я вздрогнул, заметив ее, и торопливо подошел к камню. При свете фонаря, с которым кто-то прошел рядом, я узнал в этой закутанной в черное незнакомке Кетевани Георгиевну.

— Я люблю бурю, — сказала она, узнав меня и протягивая мне руку. — Когда я так смотрю на волны, мне хочется броситься туда и быть с ними и, как они, исчезать и возникать среди пены, забыть себя... Понимаете?

— Вы — морская царевна, — пробормотал я, повторяя то, что мне пришло в голову, когда я в первый раз увидел Кетевани Георгиевну на пляже во время купанья.

— Да... Но у меня нет царства... И мой жених-царевич меня покинул...

Она так серьезно произнесла эти сказочные слова! А буря глухо шумела.

Казалось, что с неба спущены черные завесы— одна, другая, третья — и все разных оттенков, от пепельно-черных до сине-черных. Мерцающий и слабый свет ущербной луны едва-едва серебрил хребет океана. Призраки двух несчастных баркасов, со спущенными парусами, то возникали перед ищущим взглядом, то пропадали в таинственном сумраке. Утлые рыбацкие суда боролись с волнами так отважно и так тщетно... Как их ждали на берегу! Одна женщина, жена рыбака, должно быть, с тревогою бродила около прибрежных камней... Волны то и дело обрушивались около ее ног. Но она не обращала на них внимания. Она видела только баркас среди зыбкой ночной пустыни и все поднимала свой фонарь и раскачивала его, давая знак.

— Они боятся поднять паруса, — сказала Кетевани Георгиевна, указывая на суда, — а я бы на их месте подняла их. Сейчас подул ветер попутный...

Едва она это сказала, как тотчас же один из баркасов распустил свои черные крылья и обезумевший ветер подхватил его и помчал прямо на нас. Из малой точки мгновенно вырос баркас в огромную крылатую птицу. И как великолепно, как победно вошел он в гавань на своих траурных парусах...

— Я иду домой. Проводите меня, — сказала Кетевани Георгиевна, кивнув мне головой.

Я взял ее под руку.

— Вы знаете, почему я так откровенно говорю с вами? — спросила она, доверчиво касаясь моей руки.

— Почему?

— Потому, что я знаю вас уже давно, я видела ваши картины, люблю их и особенно одну, один женский портрет — дама с лилией... У нее такие глаза, такие глаза... Как у меня... Не правда ли?

«Так вот где я видел эти глаза», — подумал я, вспомнив приснившийся мне когда-то сон.

— А вы знаете, — сказал я, — у меня не было натурщицы, когда я писал этот портрет. Мне приснились эти глаза и это лицо...

— Ах, мне снятся странные сны, — прошептала она, наклонив голову, — и потом я не знаю, где сон, где явь. Я все забываю. А иногда возникают воспоминания, какие-то странные кусочки жизни — какие-то мелочи, подробности.. Иногда видишь, например, угол комнаты, диван, на нем забытый цветок полуувядший, — и сердце сжимается в сладостной тоске. Тогда чувствуешь, что кто-то ушел, покинул тебя — и вернется ли, Бог знает. И нельзя понять, жизнь это или сон. А то иногда приходит моя покойная подруга, Соня. Я с нею разговариваю и потом не знаю, наяву это было или во сне.

— О чем же вы говорите с нею?

— О разном... О неважном... В последний раз она меня спросила, откуда у меня кольцо с рубином, и все жаловалась, что ее ветер беспокоит и что будто бы у нас в доме сыро.

Кетевани Георгиевна помолчала и потом промолвила, как будто не для меня, а так, для самой себя:

— И неправда, что это я виновата. Мне он не нужен был. Я шутила. Соня прекрасно это знала. Нет, не виновата я.

— Про что вы говорите, Кетевани Георгиевна?

— Мне сказали однажды, что это я убила Соню, что она ревновала меня к своему мужу. Только это неправда. Я не любила его.

— А вы любили когда-нибудь? — спросил я и сам удивился, зачем я так спросил.

— Да... Да... Только он был совсем чужой, совсем чужой... Он мне ни разу не позволил поцеловать себя... Он был не человек.

— А кто же он был?

— Ангел или кукла, я не знаю. Прежде я верила, что ангел.

«Она смеется надо мною», — подумал я и хотел посмотреть ей в лицо, но было темно, и я не увидел ее глаз.

— Прощайте, — сказала она как-то неожиданно и даже слегка оттолкнула меня.

Она скоро исчезла в сумраке. Помедлив немного, я пошел за нею. Наконец, почти догнал ее.

Она, не заметив меня, повернула за угол. Какая-то темная фигура возникла рядом с нею и они стали вдвоем у порога отеля.

Я отошел в сторону и дождался, когда Кетевани Георгиевна с кем-то неизвестным вошла в отель.

У меня почему-то болезненно сжалось сердце.

Я пошел на мол и сел там на каменной скамейке. Оттуда был виден дом, где жила Кетевани Георгиевна, и вход в него.

Ни в одном окне не было огня. Потом, когда, по моим расчетам, Кетевани Георгиевна могла подняться во второй этаж, в одном из окон появился свет. Не более получаса горела там свеча. Наконец, и она погасла... А я всю ночь сидел на моле, смотрел в эти черные окна и слушал, как плачет буря.

IV

Однажды ко мне пришел Дробовский и сказал:

— Вы художник. Вы пишете портреты... Но разве не страшно это?

— Что страшно? — не понял я.

— Как что? Лицо человеческое... Оно всегда загадочно и всегда мучительно... Возможно ли разгадать его? Нет, нет... Веласкез, Рембрандт, Врубель — кто угодно — все они создавали лица, может быть, как новые боги, но живых настоящих лиц никто не разгадал. А если разгадывали, то приблизительно. А здесь немыслима приблизительность. Все или ничего. А разве мы, простые смертные, не мучаемся так же, как и вы, художники? Вы подумайте! Вы целуете руки той, которая кажется вам прекрасной; и, когда вы касаетесь губами этой милой вам руки, вы верите, что ваша любовница принадлежит вам, но посмотрите ей в глаза: это какие-то дьявольские зеркала, в которых отражаются взгляды иных, неведомых вам людей. Как непонятно ее лицо! Клянусь вам, что это пытка, ужасная пытка...

Говоря так, он все поднимался на цыпочки и прижимал руки к груди.

— Вы живете в отеле, против мола? — спросил я.

— Да, я там живу.

— А Кетевани Георгиевна?

— И она там же.

— Дробовский! Вы и раньше встречали Кетевани Георгиевну... Кто она такая? Расскажите мне что-нибудь про нее.

— Я, правда, встречался с Кетевани Георгиевной, но — уверяю вас, я почти не знаю ее жизни. Кажется, одно время она была актрисой, но потом бросила сцену. Ее муж — инженер. Он участвует в какой-то дальней экспедиции, где-то в Сибири... А про характер Кетевани Георгиевны я ничего не могу сказать... Разве только то, что сердце у нее фантастическое...

Он закрыл лицо руками.

— Я думаю, — прошептал он, — я думаю, что Кетевани Георгиевна душевно больна.

— Но почему вы так волнуетесь, Дробовский? — сказал я, чувствуя, что напрасно затеял этот разговор.

— Боже мой! — прошептал он, всплескивая руками. — Почему я волнуюсь! Да потому, что я боюсь ее. Ведь она в бреду Бог знает, что может сделать...

— Бог знает, что может сделать, — повторил я рассеянно.

— Ведь Кетевани Георгиевна, — продолжал Дробовский, — в самом деле верит, что она Морская Царевна или что-то в этом роде. Уверяю вас.

— Но это еще не так страшно.

— А по-моему, страшно... Она требовательна... Она все ждет чуда. А чуда нет.

Дробовский сделал круглые глаза и, взмахнув руками, как крыльями, испуганно прошептал:

— В ней что-то есть опасное, последнее, гибель какая-то...

— То есть как же это? — удивился я, почему-то пораженный этим замечанием Дробовского.

— В ней какая-то тревога... Как будто бы всему конец скоро...

Неожиданно Дробовский засмеялся, засмеялся неприятно, истерически:

— И знаете еще что? Она — Дон-Жуан...

Он задышался от смеха. Я пожал плечами, не понимая его:

— Простите, Дробовский, но у вас у самого лихорадка. Какой вздор! Что вы говорите! «Дон-Жуан»... Нелепость какая, Господи...

— Да... Да... Она, как Дон-Жуан, все ищет лицо человеческое... Ищет и не находит... Она бродит по свету, как сомнамбула: как будто бы суждено ей искать, искать, искать — вечно искать...

— Ах, какой романтизм, Дробовский!

— Нет, это все правда... И не надо смеяться: в Дон-Жуане есть всегда что-то опасное и тревожное... И она, как Дон-Жуан, всегда мечтает о том, чего нет.

— Все это сложно и как-то запутанно, Дробовский. У меня голова начинает болеть.

— Простите меня, — почти вскрикнул Дробовский, крепко сжав мне руку. — Прощайте. Я, кажется, наговорил лишнее.

Дрожащей рукой он надел шляпу и торопливо вышел.

Я сидел на краю высокого крутого берега и писал этюд моря. Мне посчастливилось найти такой зеленый тон, о каком я давно мечтал... Когда я удачно работаю, сердце у меня сильно бьется, как от вина, и в ногах у меня бывает такое ощущение, как будто я их погружаю в теплую воду.

Я улыбался, насвистывал марш из «Кармен» и думать забыл о зеленоглазой незнакомке и ее любовнике.

Неожиданно меня кто-то назвал по имени. Я обернулся. Это была Кетевани Георгиевна.

— Я помешала вам? — спросила она робко и застенчиво.

— Нет, нет, — пробормотал я, тайно огорчаясь, что уже нельзя будет дописать этюд.

Кетевани Георгиевна села на траву и обхватила колени руками.

Я взглянул на нее, и во мне снова возникло то острое, беспокойное и сладостное чувство, какое я испытал, когда в первый раз увидел ее серо-зеленые глаза. Я положил кисть и палитру и сел рядом с нею.

— Кетевани Георгиевна! — сказал я, беря ее за руку. — Вы необыкновенная! Вы странная... Простите, что я так прямо и так нескладно говорю, но я не могу иначе. Я хочу сказать... Я хочу сказать... Ах, это так трудно выразить... Вы как-то влияете на меня... Я кажусь вам смешным и наивным? Да?

— Почему наивным? Нет... Нет, — сказала она, устремив на меня свои непонятные глаза.

— Вы влияете на меня. Я не знаю, что это такое. Не влюблен ли я в вас? Нет, нет... Я не знаю. Я в это не верю. Ведь вот я признаюсь вам: мне не хотелось оторваться от работы, когда вы пришли. И я не думал о вас. А сейчас, если вы уйдете, я буду чувствовать себя несчастным.

Кетевани Георгиевна тихо и радостно засмеялась.

— Ах, дайте мне ваши губы! — прошептал я.

— Не надо! Не надо, — сказала она, слабо меня отстраняя и полукрывая свой рот.

Я обнял ее и стал целовать.

Потом, лежа на траве у ее ног, я говорил, сжимая ее пальцы:

— Вы так явно неестественны, что это уже перестает быть фальшивым. Вы откровенно говорите неправду и не хотите, чтоб вам верили.

— Да, не хочу.

— Когда я целовал вас, вы шептали: «Люблю...» Но ведь это неправда, неправда...

— Да, неправда.

— Нет, вы не женщина.

— Я — Морская Царевна.

Неожиданно она встала и торопливо простилась.

— Прощайте, прощайте... Это ничего. Это так. Не думайте обо мне. Это пройдет.

Но это не прошло. Я целый день ходил сам не свой. Все время я чувствовал запах ее духов, прикосновения ее губ. Перед обедом на пляже ее не было. И вечером тщетно я бродил по молу, надеясь ее встретить. Потом я пошел в казино и сидел там за бутылкою вина часа полтора. Я думал о Кетевани Георгиевне, о странном поцелуе, который никогда не повторится; сердце мое мучительно ныло и весь мир казался мне фантастическим и страшным.

Я вернулся домой в двенадцатом часу. На пороге меня встретили старухи и, перебивая друг друга, сообщили таинственно, что меня ждет дама. Сердце мое упало.

Какое это было странное свидание! Мы были так молчаливы... Мы целовали друг друга, как в бреду, как во сне. И сейчас мне иногда кажется, что ничего не было, что Кетевани Георгиевна не приходила ко мне.

Она ушла от меня на рассвете. Как дрожали мои пальцы, когда я застегивал ее платье!

Уходя, Кетевани Георгиевна кивнула мне головой и загадочно сказала:

— Прощай, милый. Это — последнее.

— Что «последнее»? — спросил я, удерживая ее руки.

— Все. Жизнь. Больше ничего не надо. Я знаю, что будет. Скучно будет. А сейчас хорошо мне. Прощай.

Слезы почему то подступили к моему горлу.

— Не надо, не надо. Не уходи, — шептал я.

Но она ушла.

Я не спал в эту ночь. Утром, когда, наконец, я стал засыпать, меня разбудил стук в дверь.

— Сейчас, сейчас! — крикнул я, вставая и торопливо одеваясь.

Вошел Дробовский. Он был бледен. Руки его дрожали. Видно было, что он тоже не спал всю ночь.

— Я не знаю, почему я пришел к вам, — сказал он, прижимая руки к груди, — но все равно... Мне ничего не стыдно теперь. Если ее нет у вас, значит, я угадал. Все кончено.

Он закрыл лицо руками.

— Пойдемте на берег, где стоят лодки. Я однажды видел ее там, когда была буря, — сказал я, предчувствуя недоброе.

Он молча надел шляпу.

Когда мы подошли к берегу, там стояла толпа рыбаков и женщин и слышался невнятный гомон.

Дробовский вздрогнул и, пробормотав что-то неясное, пошел назад торопливо.

Я подошел к толпе. На берегу лежало тело Кетевани Георгиевны. Я увидел прядь рыжих волос на затылке, линию шеи и руку, нежную и тонкую. Платье было опутано морской травой.

УПЫРЬ

А. А. Бел-Конь-Городецкой

1

Получили, наконец, бумагу: Наташу принимают в пансион на казенный счет.

Надо было радоваться, но мама заплакала и стала просить папу не отдавать Наташи.

Папа сердился.

— Но ты пойми, — говорил он с дрожью в голосе, — но ты пойми, что не сегодня-завтра я умру. Что будет с девочкой?

Папа говорил правду, но маме казалось, что если около нее не будет этой девочки с мягкими, чуть вьющимися рыжеватыми волосиками, с большими изумленными глазами, с маленькими неокрепшими плечиками, жизнь станет похожа на серую паутину, и нечего будет делать, разве замататься в паутину и уснуть мертвым сном.

Решили написать две записки: «оставить дома», а другую «в пансион». Положили записочки на ночь к образу Николая Чудотворца.

Утром Наташа сама вытянула записочку — «в пансион». Она плохо себе представляла пансион и думала только о том, как, должно быть, интересно ехать по железной дороге. Она никогда по ней не ездила. Один раз только, когда встречала дядю, она была на вокзале и видела паровоз — с двумя красными глазами, как у соседнего сенбернара.

Но вот, наконец, мама везет девочку в губернский город из их уездного захолустья.

Выехали поздно вечером. Из окна ничего не видно; зеленеет только фонарь на линии. Станции путают гулкими звонками.

В вагоне старуха, желтолицая, угощает Наташу конфетами, в глазах у старухи играют огоньки.

Рассказывает старая сказку про упыря. Губы у него красные, лицо белое, как будто в муке; приходит по ночам к людям и сосет кровь.

Наташа жметя к маме, — и мама сердито смотрит на старуху.

— Разве можно детям рассказывать такие вещи?

— А что ж вы, сударыня, меня не предупредили?

— Да почем же я знала, что вы про такое будете говорить?

— Я, сударыня, сразу сказала: упырь. Известное дело, что такое упырь.

— Ах, Боже мой! Забыла я, что значит упырь.

— Забыли. А вы не забываете. Может, и вам придется с упырем встретиться.

Наташа плачет.

— Не плачь, детка моя, — говорит мама, — не плачь. Ложись спать, миленькая. Христос с тобой.

Мама крестит Наташу, крестом отгоняет бесовскую силу, красногубых упырей.

— Защити, Господи, и помилуй девочку Наташу.

Наташа спит наверху. Прямо над головой круглый фонарь в зеленом чепце, как у старухи. И ночью Наташа просыпается и не может понять, кто это смотрит на нее, не та ли старая. А, может быть, сам упырь пришел к девочке.

Ах, страшно жить на этом свете, где бродят упыри, белоллицы, красногубые, склоняются над нежным телом и пьют алую кровь несатыми устами.

И страшно Наташе, и не смеет она закричать, позвать милую маму.

На рассвете приезжают в город, — ползет желтый туман по мостовой. Плачется небо на печальную судьбу; по-осеннему приуныли дома и городские сады понуро стоят в туманном утреннике.

— Ах, домой бы, домой.

Остановились у тетки Серафимы. Она ходит с папироской в зубах. Подошла к буфету, стала доставать чайник и пошатнулась.

Дядя жалуется маме, пальцем показывает на тетку Се-

рафиму:

— С утра наклюкалась.

Наташа не понимает, что значит наклюкалась, но ей страшно от этого слова и жалко тетку.

Хочется сказать:

— Тетечка, милая, мне тебя жалко: это ничего, что ты наклюкалась. Это ничего.

После обеда мама с теткой собирались ехать за покупками, но тетя ложится на диван и засыпает.

Она бормочет во сне:

— Еду, еду, еду...

И шевелит ногами: ей кажется, что она едет. Не все ли равно?

2

В пансионе стены выкрашены охрой; везде пахнет карболовой кислотой; коридоры наводят уныние; в актовом зале портреты государей и купца с медалями, покровителя пансиона.

Наташа ни во что не верит, — ни в охру, ни в коридоры, ни в портреты.

— Ну, прощай, детка. Христос с тобой. На Рождестве возьмем тебя. Будем с тобой на санках кататься.

Мама плачет.

Швейцар седоусый уносит куда-то Наташину корзиночку. У начальницы черные брови срослись вместе — два мохнатых червяка. Бледноликие девочки в коричневых платьицах смотрят на Наташу невеселыми глазами. Повели новеньких в дортуар.

— Кто твой отец?

— Мой папа — особых поручений.

— А мама?

— Не знаю. Мама — мамочка.

Тоска у Наташи. В утлу собрались девочки, окружили кого-то.

- Что там такое?
- Зеликман дразнят.
- Зачем?
- Так. Просто дразнят.

Тоска у Наташи. Звонок пугает, как на станции. Загорятся сейчас по линии зеленые огни. Пойдет поезд в чужую даль.

Вот идут на молебен. Попарно. Наташа с черноглазой Машуриной.

- Седенький священник, поблескивая ризой, возглашает.
- Благословен Бог наш...

Рядом с начальницей стоит бледный господин. Глаза его — как темная ночь, губы — как алая кровь. Неизвестно, зачем он пришел сюда, где юные девушки и малолетние девочки поют нежными голосами тропарь: «Яко посреди учеников Твоих, пришел еси, Спасе...»

— Кто это? — спрашивает Наташа Машурину и показывает на красногубого человека.

— Упырь, — говорит Машурина и смотрит круглыми глазами.

Страшно стало Наташе. Но не может наглядеться на упыря. Ничего не видит; никого не видит; только его.

Хор поет:

«Предстательство христиан непостыдное...»

Вот уж священник читает молитву:

— Избави их от всякого налога вражия.

Вот уж потянулись белые переднички ко кресту.

Молодые полудетские и совсем детские руки, губы невинные, но глаза не всегда безгрешные — перед распятием.

Но всех благословляет седенький священник, не любопытствуя, кто предстоит перед святым крестом.

«Так вот какой упырь», — думает Наташа.

После молебна пошли в столовую завтракать. Машурина съела Наташино пирожное и больно ущипнула Наташину руку.

После завтрака — в сад. Бегали, кружились по дорожкам в осеннем багрянце.

Кто-то закричал:

— Вон доктор идет.

Пришел упырь — все притихли.

Потом опять стали играть в кошки-мышки. Машурина была кошкой. Ловила Наташу. Поймала, целовала, укусила Наташу за щеку.

Классная дама заснула в плетеном кресле. Тогда потащили Зеликман в дальний угол, за беседку. Что-то там с ней делали. Наташе хотелось узнать, что там делали. Девочки смеялись, не говорили. Зеликман вышла красная, с глазами влажными, с исцарапанными руками.

И осень больная, влажная, покрасневшая — томила в саду. И томление осени, и томление девушек — все сочеталось в одной сладостной пытке. И снова хотелось играть в опасную игру — быть мышкой, кошкой — бежать, ловить — крепко держать друг друга за руки в хороводе, — сжимать круг, раздвигать круг, — и петь, и петь, и кружиться в осеннем багрянце.

По аллеям ходили, обнявшись, бледные девушки, уставшие от детских игр. Бледные девушки с осенними цветами в руках, в белых пелеринах. Томно сияли глаза их, влюбленные в осень.

Классная дама, заснувшая в кресле, склонила седые волосы, уронила вязанье на песок.

Мимо нее прошел доктор, прозванный упырем. Прошел тихо, не разбудив престарелой дамы. Бродил Упырь по дорожкам сада. И, встречаясь с ним, в странном смущении краснели девушки и роняли на землю осенние цветы.

3

Горит в дортуаре ночная лампадка, и тихо колеблются тени, и тихо бредит осенняя ночь.

Наташа не спит на жесткой постели. Прислушивается. Классная дама мерно храпит в соседней комнате. Зеликман лежит недалеко от Наташи и бормочет во сне:

— Ах, Боже мой, Боже мой! И что я вам сделала? Что?

И через минуту опять слышно жалобное бормотанье маленькой еврейки:

— Ах, мамуся, весь мир на меня, весь мир.

Вот что-то пошевелилось около стены. Машурина тихо подымается с постели, идет босая, в рубашке, к соседке. Молча юркнула к ней под одеяло. Прижались две подруги и шепчут что-то друг другу на ухо, смеются едва слышно. Притаили дыхание. Как непонятно молчанье в этой лунной ночи.

Жарко натоплено в дортуаре. Душно. Сбросила Наташа одеяло, осталась под одной простыней. В лунном серебре смешались линии ее детского тела. Свернулась Наташа клубочком, как зверек. Вoroжит над девочкой полная луна. И думает Наташа о своей судьбе:

«Что будет завтра? Как жутко без мамы. А тут еще бродит среди девочек красногубый Упырь».

Какое томленье в дортуаре. Утомленные хороводной игрой, разметались подруги в своих постелях. Шепчут в лунном бреду: «Лови! Лови!» — что-то напевают. Пылают детские губы.

Проскользнули вместе с луною серебристые сны и закужились по дортуару в ночной игре. Забегали беззвучно кошки и мышки.

И чудится Наташе, что пришел в дортуар Упырь, ищет девочку, чтобы выпить ее кровь.

Бродит Упырь от постели до постели. Остановится, припадет к сердцу и пьет. А девочка стонет, томится, но проснуться не может, — завтра встанет бледная, с темными пятнами под утомленными глазами.

Ах, как страшно!

— Господи Иисусе Христе, спаси и помилуй девочку Наташу.

Наташа крестится и открывает глаза: нет Упыря, ушел, испугался крестного знамения.

Наташа засыпает.

Снятся ей серые мышки и огромный белый кот. Мяучит кот, высовывая красный язык; ворочает глазами, нагоняя страх на мышьеиное царство. Бегут мышки с какой-то горы,

а за ними кот. Хочет Наташа заступиться за мышек, прикрыть их собой, и видит: кот стал Упырем. Лицо человеческое. Наклоняется над Наташей, но она не боится его, скоро-скоро шепчет молитву своему Христу:

— Господи Иисусе, спаси и помилуй девочку Наташу.

После двух уроков повели девочек на гимнастику. Одели их в штанишки, показывали, как надо вертеть руками, приседать, притягиваться на трапеции...

Тут ходил Упырь, учил девочек вывертываться на кольцах, поддерживал снизу, чтобы не упали, хвалил за старанье, ласково гладил по голове.

Потом ушла куда-то классная дама Гусева.

— Вы, — говорит, — доктор, займитесь малышами, а я пойду.

Учил Упырь Машурину вертеться на трапеции. Худо его понимала девочка. Взял тогда ее к себе на колени, показывал, как надо делать.

Машурина ничего не боится, смеется, говорит:

— Щекотно.

Заставил ее Упырь вложить в кольца руки и ноги, делать «лягушку». Напрягалось маленькое тело; видна была каждая линия. Спустилась вниз красная. Глаза блестят. На губах виноватая улыбка.

Похвалил Упырь Машурину.

После звонка завтракали, а потом был урок Закона Божия.

Батюшка рассказывал, как напился вином виноградным старый Ной, как посмеялся над ним сын его Хам и как прикрыли наготу отца Иафет и Сим, братья Хама. Батюшка был веселый, вместо напился говорил «наклюкался». И Наташа вспоминала о тете Серафиме и думала: «Теперь я знаю, что значит наклюкаться».

Шел печальный осенний дождь, и нельзя было гулять в саду. Бродили девочки скучные в скучных коридорах старого пансиона.

Машурина рассказывала Наташе разные истории:

— В третьем классе есть девочка Лилитова. В лунные ночи она встает во сне с постели и бродит по пансиону. За-

бирается на рояль и шкаф. Однажды пробралась в гимнастический зал, залезла на трапецию — а сама спит.

— Это страшно, — говорит Наташа.

— Да, страшно. А то еще рассказывают, что у мадам Гусевой голова по ночам от тела отрывается. Второклассницы видели: лежит Гусева на постели без головы, а голова на туалетном столике рядом с мылом и зубными щетками.

— Я боюсь, — говорит Наташа.

— Еще бы! И я боюсь. А у нас в подвале, под нашим дортуаром, кости в цепях нашли — человеческие...

— А что такое Упырь? — спрашивает Наташа.

— А это, кто кровь пьет живую.

— А доктор пьет?

— Нет. Его только так прозвали, потому что у него губы красные. Он добренький.

Молчание.

— Скоро нас свидетельствовать будут, — говорит Машурин мечтательно.

Дошла очередь и до Наташи. Мадам Гусева повела ее к доктору на третий этаж.

— Вот вам — деточка, доктор. Я зайду к вам на большой перемене: у меня сейчас подряд два урока.

Страшно почему-то Наташе. Запер доктор дверь. Угощает Наташу конфеткой.

Говорит Наташе ласково:

— Поди сюда. Я тебя не съем.

Вот он поставил Наташу совсем близко. Она чувствует прикосновение колен его.

— Ну, расстегни платье. Я выслушаю тебя.

«Упырь, — думает Наташа. — Упырь».

Алеют губы доктора, бледнеет лицо, и чуть вздрагивают руки. Пахнет дурманными духами от черного сюртука. Душно в комнате от жаркого камина. Шторы спущены, и кажется, что — ночь и что утра не будет никогда. Кажется, всегда суждено так быть вдвоем с алым ртом.

Темно в комнате. Только рыжие волосы Наташины поблескивают от огня в камине.

— Как тебя зовут, деточка?

— Наташей.

— У тебя ничего не болит?

— Ничего.

— А здесь больно?

— Нет.

— А здесь?

— Нет.

— Ну, детка, развяжи вот эту тесемочку. Да ты не бойся, я худого не сделаю.

Стоит в одной рубашонке Наташа на мягком ковре. Глаза ее влажны и губы слегка дрожат. Розовеет сквозь полотно юная земная жизнь. Вдыхает Упырь алость теплую и желанную.

— Ну, ложись, детка — сюда, на диван. Вот тебе и подушка, милая.

— Я боюсь, — говорит Наташа, — я боюсь.

— Чего ж ты, Наташа, боишься? Я тебе больно не сделаю...

И видит Наташа, как темнеют глаза на бледном снежном лице.

МАЛЕНЬКИЙ РАУХ

I

Хоронили горбатого Рауха, этого рыжеватого карлика, который бродил по улицам нашего городка с ваксой и спичками.

Его положили в траурный ящик, и жалкая, лохматая кляча потащила останки маленького еврея за город, на кладбище.

За гробом шла его мать, седая Анна, и сестра Ревекка, худенькая девушка с огромными, тревожными глазами. По доскам, вдоль заборов, брели молодые евреи — человек десять — с завода братьев Пруст.

А немного подальше неуверенно шел мясник Яков Пронин, большой человек с окладистой бурой бородой.

Это было в июле. В воздухе стояла мелкая, горячая пыль. Земля поникла, и тишина покрыла весь город серой вуалью.

Не верилось, что три дня тому назад в городе разбивали и грабили лавки Кезельманов и Дрейеров, что на улицах раздавались странные крики; не верилось, что вот в этой самой риге купца Румянцева изнасиловал кто-то маленькую Сарру...

Неподвижно стояли у плетней огромные, равнодушные лопухи.

Телега с гробом миновала шлагбаум и потянулась по узкой дороге через поле кукурузы.

Пахло землей и хлебом, сухо трещали кузнечики, и солнце непрерывной горячей волной заливало дорогу, гроб и телегу...

Когда внесли гроб в маленькое помещение у ворот кладбища, раввин начал читать молитвы, а старая Анна стала громко плакать и, опустившись на колени, билась своей седой головой о грязный пол.

Потом гроб понесли через маленькую дверь к могиле, и все пошли за ним, только один старик остался, старик с густыми седыми бровями, в черной шапочке.

Ходил старик по комнате, стучал сердито палкой и говорил о законе, о том, что не следовало самоубийцу хоронить вместе с благочестивыми.

Ходил упрямый старик и проклинал маленького Рауха, которого в это время вынули из гроба и опускали в могилу.

Когда Ревекка увидела белую горбатую фигурку, она закричала, как мать, только еще громче и тоньше, и бросилась к трупу, но ее удержали, и было страшно смотреть, как бьется и вздрагивает ее худое тело.

Потом случайно она взглянула на Якова Пронина, который стоял рядом с околоточным Чесноковым, и тогда Ревекка крикнула по-русски, неестественным голосом:

— Я же вам говорю: убийцы! Будьте же вы прокляты!

И на душе у Якова Пронина яснее стало от этого крика, и с кривой улыбкой пошел он, как будто что-то уразумев, наконец.

II

Накануне смерти Рауха, Яков Пронин, вместе с другими погромщиками, ходил пьяный по улицам от одного еврейского дома к другому, бил стекла и портил товары. На Московской улице, около казенной винной лавки, погромщики заметили казачий патруль и подошли к нему. Один рыжий усатый казак с наивно-бесстыдными губами, посоловевший от водки, стоя в непринужденной позе, рассказывал что-то смешное молоденькому офицеру, и тот неестественно смеялся, и его рука в белой замшевой перчатке дрожала почему-то.

Как раз в это время торопливо переходил через дорогу маленький Раух с сестрою Ревеккой.

— Гнилая говядина! — сказал Пронин офицеру, указывая на Ревекку, — а то бы я предложил жидовку вашему

благородию...

И с размаху Пронин ударил Ревекку по лицу.

На другой день погром кончился, а рано утром маленький Раух был уже в лавке Пронина и говорил ему расколотым голосом:

— Сделайте милость, господин Яков Пронин, пойдите к моей сестре и скажите ей: «Простите меня, госпожа Раух, так как я вчера весьма был пьян».

— Да ты смеешься, котенок, — хохотал Яков Пронин, с удивлением рассматривая Рауха, — да ты смеешься надомной, чертов горбун.

Смеялись все вокруг: и молодцы, и чья-то кухарка, и околоточный Чесноков.

Так стояли они друг против друга: огромный мясник с красной шеей и тщедушный карлик со вздрагивающим горбом.

— Господин Яков Пронин! — сказал Раух все тем же расколотым голосом. — Если вы не извинитесь перед моей сестрой Ревеккой, я сегодня же убью себя, господин Пронин...

И долго еще смеялись в лавке, когда ушел оттуда маленький Раух.

А горбун пошел к реке, на откос.

По реке сплавляли лес, и внизу мужики в красных рубахах, весело перекликаясь, работали длинными шестами. Белые солнечные пятна радостно играли на бревнах. На другом берегу кто-то запел звонкую песню, и она тотчас же соединилась с белыми горячими лучами, и все вокруг засияло: как будто на реку и на откос навели огромное зеркало.

Маленький Раух зажмурился: от блеска и песни у него закружилась голова и сильно застучало сердце.

— Милая Ревекка! Бедная Ревекка! — сказал громко Раух, вытаскивая из-за пазухи дрянной пистолет.

— Сестреночка моя, — в последний раз прошептал он побелевшими губами...

III

После похорон Рауха Яков Пронин пошел в трактир и спросил себе водки с угрем.

— Маленький Раух! Горбатый черт! — бормотал он, выпивая рюмку за рюмкой и закусывая жирной рыбой.

Сидел мясник Яков Пронин в трактире и пил водку — одиноко пил. Вчера он казался большим и страшным, а сегодня было жалко смотреть на его огромные ненужные руки.

— Вот я и помянул маленького горбуна, — бормотал Яков влажными губами. Потом он тяжело поднялся и пошел неуверенной походкой к себе домой.

Был душистый, сладостный вечер; хотелось почему-то плакать. Луна, совсем томная и женственная, приблизилась к городу, и казалось, что она трогает деревья и траву длинными белыми пальцами.

Входя к себе в сени, Яков Пронин заметил, что кто-то притаился в углу за кадкой, и он, Яков Пронин, сердито погрозил туда.

— Что случилось, того не вернешь, — сказал мясник, прижимая большие красные руки к пьяной груди, — маленький Раух — тю-тю!

Луна проникла в комнату и заморозила постель и стены, и пол. Все побелело.

Яков, кряхтя, забрался на высокую постель, за ситцевый полог, опустил голову на подушку и сразу почувствовал, что под окном кто-то ходит.

Помчались мысли в сумасшедшей пляске, поплыли кровавыми пятнами... И заметалось сердце в напрасной молитве... На губах вертелось одно маленькое круглое слово, тяжелое, как свинцовая пуля: смерть.

И поднялся Яков, сорвал похолодевшей рукой ситцевую занавеску и тихо кликнул:

— Ты здесь? Маленький Раух! Ты здесь?

Никто не отвечал, и только шелестело что-то за окном

И вот тогда Яков, босой, в одной рубаше, подошел окну и заглянул на двор.

По стене сарая, белой от луны, пробежала тень — маленькая и горбатая.

Так с пьяных глаз померещилось Якову Пронину: пробежала тень — маленькая и горбатая...

И как будто прошлое застонало в груди: не вернешь, не вернешь, не вернешь...

Хотелось выбежать из дома, прильнуть к земле, руками ее разрыть и требовать-кричать: «Отдай!»

IV

На другой день Яков Пронин должен был везти телят на завод братьев Пруст.

Молодцы привязали телят к телеге, и он беспомощно лежал, вытянув ноги и тоскливо озираясь.

Яков взял вожжи, от которых пахло кровью, молодежато присел на край телеги.

Духота сделалась невыносимой, и когда за городом Яков взглянул на небо, он сообразил, что будет гроза.

Потемневшая земля вздулась, поднялась к небу одним большим бугром. Ласточки метались, как сумасшедшие, касаясь крыльями трепетной ржи. Одна огромная лохматая туча с порыжевшими краями ползла с востока.

Раздался сухой отчетливый гром, потом еще и еще; мучительно замычал теленок; нагнулась рожь; пробежали, крутясь, столбики придорожной пыли; там и сям мелькнули в воздухе прутики и листья; и разорвалось, наконец, небо огненным зигзагом...

Забил гроза тревогу. Черной косой своей хлестнула она по земле и бурными слезами залила дорогу. С воем ринулась в рожь, обнажая окровавленные десны.

Тогда Яков привстал на телеге и громко захохотал.

— Га! — крикнул он и ударил лошадь кнутом.

Телега помчалась среди вихря, и в дикой радости, вместе с бурей, смеялся мясник Пронин.

Когда перестал лить дождь и взмыленная лошадь побежала рысью, до завода оставалось версты полторы.

Переезжая по мосту через Черную Речку, Яков заметил на берегу маленького горбатого человека...

Горбун сидел на бугорке, опустив голые ноги в воду, и бросал камни на середину речонки.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ЛУИЗЫ ЖЕЛИ

Однажды, застряв в Париже на лето, тоскуя по соленому океанскому воздуху и задыхаясь пока что от запаха бензина, дыма и ядовитых испарений Сены, бродил я по городу и, очутившись на набережной Вольтера, принялся по привычке перелистывать книжки на прилавках букинистов.

Мне попалась, между прочим, «Новая Элоиза» в женевском издании 1792 года, и я купил эту книжку, прельстившись приятным фронтисписом и недурным переплетом. Придя домой и рассматривая свою покупку, я заметил, что внутренняя бумажка, подклеенная под крышку переплета, чуть-чуть приподнялась и, когда я коснулся ее края, оттуда выпали желтые полуистлевшие листы, мелко исписанные. Это были неприятные записки француза, по-видимому, молодого человека, очень заурядного и, пожалуй, наивного, но по некоторым причинам эти записки возбудили мое любопытство. К сожалению, большая часть этих мемуаров погибла, но четыре уцелевших отрывка я перевел и вот хочу поделиться ими с моими друзьями.

Первый листок

Вчера я зашел к аббату де Керавенану и успел излить ему все мои чувства и сомнения. Этот мудрый и добродетельный человек помог мне разобраться в моем положении, которое казалось мне не только безотрадным, но и безвыходным.

Боже мой! Как я люблю мою Луизу! Впрочем, я не смею называть ее моей. Моя бедная мать так великодушно согласилась на наш брак, и теперь — увы! — мое счастье рушилось.

Я не сплю по ночам, а когда усталость меня побеждает, мне снится Луиза — и почти всегда в каком-то непонятном и ужасном положении. Вчера мне приснилось, что она стоит

около церкви Сен-Сюльпис и держит в руках лохматую мертвую голову, а сегодня я видел ее во сне в обществе тигра, который бормотал стихи Корнеля.

Можно сойти с ума от событий, которым все мы невольные свидетели, но еще ужаснее, когда ты сам без вины и не по своей воле вовлечен в этот ужасный вихрь, называемый у нас революцией.

Я уважаю Жан-Жака и люблю добродетель. Если хотите, я патриот, но я не понимаю этой страшной кровожадности и гонения на святую церковь.

Патриотизм! Патриотизм! Я, конечно, ему сочувствую и мне вовсе не нравится вся эта рискованная авантюра, которую затеяли в Кобленце наши дворяне и которую приходится расхлебывать всем нам даже теперь. Однако, я должен признаться, что гражданин Робеспьер, которого уличные листки называют «неподкупным», внушает мне так же мало доверия, как и заграничные друзья Бурбонов.

Бедные лилии растоптаны и едва ли они когда-нибудь оживут. Но ведь Неподкупный был против войны с пруссаками. Этого я никогда не забываю и мне странно, что его теперь все считают первым патриотом.

Кстати, лицо гражданина Робеспьера удивительно похоже на мордочку левретки, которую моя бедная мать подарила Луизе.

Но я зафилософствовался и пишу о политике, в которой я ничего не смыслю. И какое мне дело до гражданина Робеспьера. Нет, нет, не он, а совсем другой похитил мое счастье, мое единственное сокровище.

Боже мой! Как очаровательна моя Луиза! Ее золотые локоны, прядь которых я храню в моем медальоне, волнуют меня так, как будто от них исходит какая-то магическая сила. А когда она улыбается, у меня падает сердце. Но, бедняжка! Она теперь улыбается так редко. Я могу видеть ее лишь украдкой. В последний раз мы встретились с нею в садике Сен-Жермен-де Пре. Мы беседовали с нею о радостях молитвы, нашего последнего утешения, ибо и я, и она, слава Богу, не отреклись от католической церкви и, право, я никак не могу понять, почему бы не примирить ее добрые

заповеди с гражданскими добродетелями, которых я не могу не уважать. Мой отец, пивовар с улицы Оноре, немало потерпелся в свое время от господ из Версаля, и я очень понимаю, что всякий буржуа должен обладать правами человека. Я согласен, что хорошие слова «свобода, равенство и братство» должны быть начертаны в сердцах патриотов, но постоянная прибавка к ним «или смерть» пугает мое бедное сердце. Ведь, чтобы там ни говорили наши философы и ораторы, эти три словечка очень растяжимы, а иногда и двусмысленны. А тут вдруг смерть! Есть от чего потерять голову. Кстати, о голове. Вчера я проходил по кварталу Ля-Форс и видел, как во дворе одного дома пробовали на баране новый нож для гильотины. Бедное животное! Увидев кровь, я вдруг вспомнил этот ужасный сентябрь прошлого года.

Ничего не подозревая, отправился я вечером второго сентября с моею матерью в театр Мольера, на улице Сен-Дени. Двери были закрыты почему-то. Тогда мы пошли в театр св. Екатерины. Он тоже был закрыт. Мы возвращались домой через Гревскую площадь, потом по Новому мосту. Откуда-то доносились крики, и мы никак не могли понять, что сейчас творится в городе. На углу улицы Бурбон-де-Шато стояла кучка женщин. Я подошел к ним и спросил, почему это кричат и что случилось.

Одна из патриоток, в высоко подоткнутой юбке и деревянных башмаках, упершись руками в могучие свои бедра, смерила меня с головы до ног и сказала грозным басом:

— Откуда взялся этот малец? Не с неба ли он свалился? Кто же сейчас в Париже не знает, что добрый народ судит сейчас врагов свободы и братства? Граждане сейчас работают по тюрьмам. Я уже носила ужин в Аббатство моему бедному Франсуа. Он так устал. У него все руки в крови этих проклятых кюре.

Моя матушка пошатнулась, и я, боясь, что патриотки заметят ее волнение, поспешил ее поддержать.

По счастью, женщины не обратили на нее внимания.

— Вот, — сказала одна из них, показывая на ручей, ко-

торый, булькая, бежал по плитам улицы.

Ручеек был совсем красный. Это была кровь убиваемых в аббатстве Сен-Жермен-де Пре.

Теперь там тихо, и Луиза назначает мне свидания под его деревьями.

Наш добрый аббат де Керавенан спасся в ту ночь у те-тушки Матильды на чердаке. Он ведь тоже не давал без-божной присяги и скрывается до сих пор от трибунала. Я и Луиза навещаем его изредка не без большого риска.

Я так привык его слушаться, что без него чувствую се-бя, как овца без пастыря, но должен признаться, что послед-ние его советы смущают мою душу. Конечно, спасение Хри-стовой церкви и жизнь ее верных чад дороже моего лич-ного и частного счастья, но мысль, что мне придется пожерт-вовать моею Луизою этому рябому чудовищу со сломан-ным носом и разорванной губою, приводит меня в трепет. Аббат де Керавенан уверяет, что этого злодея, которому мол-ва приписывает сентябрьские убийства, можно еще напра-вить на путь истинный и его рукою спасти нашу бедную Францию. Но каково мне, уже на пороге счастья, вдруг от-казаться от надежды повести Луизу к моему скромному оча-гу в качестве милой жены и хозяйки?

Я до сих пор ни разу не решался на листках моих ме-муаров написать имя моею злейшего врага, который, впро-чем, вероятно, не помнит меня вовсе и едва ли даже заме-тил меня, хотя мы с ним встречались несколько раз не толь-ко у Жели, но и в доме стариков Шарпантье. Чувствую, что рука моя дрожит, когда я пишу это ужасное имя: *Жорж Жак Дантон из Орен-сюр-Об*.

Второй листок

Франция воюет с коалицией. Страна измучена набора-ми. Известия с фронта, то мрачные, то радостные, волнуют меня, как и всех, разумеется. Тот самый Робеспьер, кото-рый когда-то, на мой взгляд, предательски, стремился пога-

сить патриотический дух, настаивая на том, чтобы Франция не воевала вовсе, приняв унижительные условия, предложенные коалицией, теперь вдруг разыгрывает роль «отца отечества» без надлежащей искренности, насколько я понимаю.

В Париже настоящий голод. У булочных стоят хвосты. Максимум, конечно, не помогает ничуть и спекулянты провозят в мешках с Юга муку и все прочее по ужасной цене. Богатые люди устраивают свои дела, санкюлотам помогает коммуна, а нашему брату, труженикам, которые добывают себе хлеб умственным трудом, живется хуже всего. Отец мой разорился. А ведь моя профессия школьного учителя теперь очень затруднительна. На меня косо смотрит наша секция, потому что многие подозревают во мне верного христианина, что кажется теперь предосудительным.

Но как ни тяжело теперь жить, кафе и театры все открыты. Говорят, что многие развратничают по ночам, и это те самые, которые днем говорят о правах человека и о природной добродетели.

Открылся, между прочим, художественный салон. Я был там. По правде сказать, мне было жаль, что теперь уже не в почете картины Фрагонара, Буше и очаровательного Ватто. Каким-то холодом веет от всех этих нынешних сухих линий и безжизненных красок, какими пользуются наши живописцы, изображающие Брутов, Гракхов и разных там добродетельных республиканцев. Давид, конечно, великий художник, но, когда я смотрю на его холсты, у меня такое чувство, как будто меня кто-то упрекает за то, что я простой человек, любящий мою Луизу, жизнь, пение птиц, траву и деревья.

Между прочим, я увидел в салоне бюст женщины. В чертах ее я узнал что-то знакомое. Под соответствующим номером каталога значилось следующее: «Бюст гражданки Дантон, вырытой из могилы через неделю после погребения; маска эта снята с лица покойной глухонемым гражданином Дезенном».

Так подтвердились для меня слухи, которым я отказывался верить. Значит, в самом деле этот безбожный человек

не постыдился потревожить прах бедной Габриэли, своей первой жены. Боже мой! Свидетелями каких кощунств мы еще будем! Говорят, что Дантон любил свою Габриэль. А его ночные оргии? А мадам де Бюффон? Кому это неизвестно? А теперь, не прошло трех месяцев со дня смерти Габриэли, и он уже претендует на брак с моею несчастною Луизою.

Он утверждает, что Габриэль завещала ему жениться на Луизе. Неужели это правда? Я знаю, что покойница в самом деле была католичкою и хотела, чтобы неистовый ее муж вернулся в церковь. Может быть, она надеялась, что Луиза своим христианским смирением успокоит буйное сердце этого сумасшедшего безбожника. Самое мучительное для меня то, что аббат де Керавенан тоже возлагает надежды на мою овечку и думает, что она укротит нашего свирепого льва. С этим не мирится мое чувство, но надо повиноваться нашему пастырю, ибо, если мы покинем лоно церкви, для нас не будет никакой опоры и все мы будем раздавлены, как кусочки железа на наковальнях под ударами молота. Под этим тяжким молотом я разумею наше революционное правительство.

Третий листок

Свершилось. Все кончено. Я погиб. До последней минуты я надеялся, что этот страшный человек не решится исполнить требование своей несчастной невесты. По моему настоянию, Луиза поставила ему условие, неприемлемое, как я думал, для этого дерзкого вольнодумца. Она потребовала, чтобы он до свадьбы пошел исповедоваться и принял святое Причастие у неприсяжного священника. Но чудовище согласилось на это условие. Луиза указала ему на аббата де Керавенана.

Я вчера был у господина аббата, и он мне признался, что не ожидал такого исповедника. Однако Дантон пришел к нему.

Старая Жервеза бормотала Бог знает что, увидев на пороге лохматую голову этого неожиданного гостя. Дантон прошел к аббату, слегка оттолкнув побледневшую служанку. Господни аббат встал. Потом он говорил мне, что вовсе не был уверен, зачем пришел к нему этот создатель кровавого трибунала — за тем ли, чтобы привлечь его к суду, его, отказавшегося восемь месяцев тому назад присягать, или за тем, чтобы склонить свою буйную голову перед Распятием. Я, конечно, не знаю, что говорил на исповеди этот необыкновенный человек. Может быть, надежды доброго аббата будут оправданы.

Но я? Ведь я живой человек. Ведь у меня несчастное влюбленное сердце. Иногда ропот подымается в моей душе. Святая церковь, взыскующая неземного града, не слишком ли сурова к моему личному, частному, но такому трепетному чувству?

Когда все было решено и назначен день свадьбы, Луиза прибежала ко мне, чтобы проститься. Матушки не было дома. Я упал на колени перед Луизой, я целовал ее туфли, обливаясь слезами. Она гладила своей ручкой мою голову и я поцеловал ее ладонь, про которую в счастливые дни я, шутя, говорил, что ее следовало бы гильотинировать, ибо она может смутить общественное спокойствие своею прелестью.

Теперь никогда, никогда мне уже не коснуться губами этих нежных тонких пальчиков. И подумать только, что я мог бы разделить с ней иные восторги любви — и вовсе не украдкой, а дома, у семейного очага, по праву, освященному церковью.

После свадьбы они уехали в Арси-сюр-Об, где у этого непримиримого революционера и защитника санкюлотов есть, кстати сказать, очень благоустроенное и небездоходное имение. Не получал ли он денег от врагов отечества, как прославленный Мирабо?

Но вот я начинаю злословить, но это худо. Надо смириться перед волею Провидения. Ах, у меня кружится голова. Надо лечь в постель, а то войдет матушка и заметит, что мне дурно.

Четвертый листок

Прошел гол. Какой ужасный год. Я не знаю, принесет ли он хорошие плоды в будущем, но то, чему я был свидетелем, наводит меня на размышления о суетности всяких земных надежд. Равенства я что-то вовсе не замечал в эти недели и месяцы нигде и ни в чем. О братстве смешно говорить, ибо оно может быть лишь во Христе. О свободе? Какая же это свобода, если мои скромные записки я должен прятать так тщательно, рискуя своей головой, если кому-нибудь вздумается их найти, прочесть и донести на меня?

А моя любовь? Она растоптана. Во имя чего? Правда, тот, кому я принес ее в жертву, как будто бы пошел по другому пути после брака с Луизою, но какие последствия! Бог мой!

Вчера все кончилось. Он погиб. Луиза свободна. Но я? Моя судьба еще ужаснее, чем его, и мне даже трудно произнести три слова, которые страшнее для меня гильотины: она полюбила Дантона!

Я никогда не забуду этого дня шестнадцатого жерминаля. От ворот тюрьмы до эшафота я следовал в толпе оборванцев, которые бежали за траурной тележкой, улюлюкая и ругаясь.

Вместе с моим врагом везли на казнь Демулена. Бедняга-журналист рыдал и бился в истерике, как женщина, и все поминал напрасно 14 июля и свою суетную, опозоренную теперь трехцветную кокарду. Чудак не понимал, что не в том дело, кто больше любит республику, а совсем в ином. Но враг мой, укравший мое счастье, был горд и спокоен — надо ему отдать справедливость. Я пожирал его глазами, но он не замечал меня вовсе. Мне хотелось увидеть на лице его признаки страха или отчаяния. Но он был спокоен, как скала.

Такие люди для меня загадка, и я никогда их не пойму.

— Да сиди же ты смирно! — сказал он строго Демулену и тронул его за плечо. — Разве не видишь, что вокруг нас лишь мерзкая сволочь?

Я слышал это собственными ушами. Когда мы очутились на площади и толпа гудела вокруг нас, у меня так закружилась голова, как будто бы и меня сейчас должны положить под нож гильотины.

Около меня стояла торговка яблоками и кричала во все горло:

— Я всегда думала, что эта бестия — аристократ.

Первым с тележки сошел Геро де Сешель. Они, кажется, обнялись с Дантоном, но я не расслышал, что они сказали друг другу.

Мой враг взошел на эшафот последним. Я вдруг позабывал ему. Я хотел умереть тогда вместе с ним. Почему? Может быть, тогда у меня было в сердце злое предчувствие.

— Дорогая! Я не увижу тебя больше! — пробормотал мой враг, озираясь.

Эти слова я слышал. О, эти слова не ускользнули от моего слуха!

Потом рассказывали, что он будто бы сказал, обращаясь к палачу: «Покажи мою голову народу — она стоит этого».

Может быть, в самом деле он сказал так. Но я уже ничего не сознавал. Я только видел это изуродованное страшное лицо, которое вдруг стало прекрасным.

Да, да — прекрасным! Это так. И тогда же я понял, что Луиза никогда не будет принадлежать мне.

И вдруг в этот же миг я увидел, что мой соперник ищет кого-то в толпе глазами. Я обернулся и узнал аббата де Керавенана. Он стоял с лицом совсем белым. Глаза у него так странно сияли. О, Господи! Он поднял руку и благословил того, кто стоял на эшафоте, отпуская ему грехи.

Мне показалось, что вокруг ночь, а ведь это было всего четыре часа пополудни, час, когда нация убила своего Жоржа Жака Дантона, вернувшегося к Господу нашему Иисусу Христу, о чем знали только трое: аббат, Луиза и я, неведомый ему его враг.

КИНЖАЛ

Посвящается Л. М. Лебедевой

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды...

Пушкин

Воистину не могу понять, каким чудом удалось мне тогда спастись. Мы бежали по Галерной, и картечь нещадно косила всех. Я уже не чаял унести целой мою голову, как вдруг заметил, что подбегаю к знакомому двухэтажному серенькому дому, где жила Клеопатра Семеновна, моя тетушка. Поравнявшись с крыльцом, я судорожно стал дергать за ручку звонка, невольно прижимаясь к стене. Дверь распахнулась как раз в то мгновение, когда набежавший сзади солдат, нелепо взмахнув руками, грохнулся наземь около меня.

— Барин! Голубчик! Как это вас господь спас! — крикнула Паша, когда я ворвался в переднюю, едва не сбив ее с ног.

Тетушка лежала в гостиной на диване, прижимая к глазам платочек.

Фиделька металась по комнате с визгом и лаем.

Услышав мои шаги, тетушка привстала с дивана, но мой вид привел ее в неописуемый ужас. Она слегка вскрикнула и упала в обморок. Мы с Пашей долго приводили ее в чувство.

Наконец, наступила тишина. Паша зажгла свечи, и мы с тетушкой сели за ужин. Ужасные события там, на Сенатской площади, и моя роковая встреча с князем Гудаловым, — все это было так странно и так страшно... У меня хватило мужества не открыть моей тайны Клеопатре Семеновне. Я понимал, какая опасность мне угрожает, и с нетерпением ожидал окончания нашего ужина. Признаюсь, у меня не

было никакого аппетита, и я с трудом жевал вафли с вареньем, которыми меня потчевала тетушка. Мне все мерещилось опрокинутое бледное лицо князя и его испуганные глаза, устремленные на меня. Надо было спешить к Герману. Я был уверен, что он поможет мне в моей беде.

Простившись с тетушкой, я вышел на Галерную. Не успел я сделать и десяти шагов, как меня остановил пикет павловцев. Я прижался к фонарному столбу, чтобы свет не падал мне в лицо. Ко мне подошел офицер, очевидно, успевший подкрепиться чем-нибудь хмельным: от него распространился запах спирта.

— Вы, сударь, кто такой? Откуда идти изволите? — спросил он.

— От тетушки, — сказал я, решившись притвориться дурачком.

— Что такое? Какая тетушка? Что за вздор...

— Всего не вздор, господин офицер. Она меня вафлями с вареньем угощала...

В это время привели трех лейб-гренадер, одного матроса гвардейского экипажа и одного москвича.

Офицер обернулся к арестованным, махнув на меня рукою. Я поспешил нырнуть в ночной сумрак. Когда я добежал до Исаакиевской площади, передо мною открылось зрелище, не совсем обыкновенное. То там, то здесь горели костры, около которых грелись солдаты. В дыму поблескивали жерла пушек. При орудиях курились фитили. Какие-то люди торопливо убирали площадь, засыпая снегом лужи крови. Иные тащили трупы и складывали их на дровни. Лошади пугливо храпели и фыркали.

Стараясь держаться в тени, я миновал площадь и пошел на Морскую, где жил Герман. Он встретил меня братскими объятиями. Я рассказал ему откровенно все, как было. Расстроженный, он заплакал. Потом, сообразив, как опасно мое настоящее положение, он вдруг заволновался:

— Но, мой милый, ведь тебя арестуют непременно. Ведь ты постоянно бывал у Синего моста. Ты со всеми был знаком...

— Да, Герман.

— Но, мой милый, ведь тебя надо спасти...

— Да, Герман.

— Но как же я тебя спасу, мой милый...

Я молчал и Герман тоже. Наконец, он пробормотал, нахмутив брови:

— У меня есть план. Слушай. Завтра утром уезжает в дилижансе в Москву к моему брату учитель. Я этому учителю дам отступного, а поедешь вместо него ты. Я напишу брату, и он тебя спрячет у себя в деревне до весны. Это, мой милый, такой медвежий угол, что тебя там никто не достанет. А весной приезжай ко мне, и я мигом отправлю тебя за границу... На каком-нибудь торговом корабле... Я это устрою, мой милый...

Герман меня обнял.

Все удалось, как нельзя лучше. Правда, по дороге в Москву у меня началась лихорадка, и я, кажется, в бреду говорил бог знает что, но, слава богу, мои случайные спутники по дилижансу оказались людьми порядочными и не повели меня в жандармерию. В Москве я немедленно явился к моему будущему благодетелю с письмом Германа, и в тот же день выехал в деревню. Там я прожил безмятежно ровно полгода и не без сожаления покинул этот тишайший уголок в середине мая. К этому сроку Герман приготовил для меня паспорт и сговорился с капитаном Карлом Шмидтом, чей двухмачтовый корабль «Диана» должен был доставить меня из Кронштадта в Травемюнде в десять дней, как уверял сам хозяин этого судна. К немалому горю моему, я лишен был возможности проститься с добрыми моими родителями и милой несчастной Машей.

Ровно в полдень был я на Берстовской паровой пристани, где и сел в катер, который должен был доставить меня в Кронштадт. На мою беду, катер задержался в пути на два часа. Нет охоты рассказывать, почему и как это случилось. Одним словом, причалив в Кронштадте к Купеческой гавани, мы тщетно кричали: «Где тут капитан Карл Шмидт? Где тут корабль “Диана”?» С гранитных стен пристани какие-то люди равнодушно внимали нашим воплям.

Наконец, нашелся матрос из Любека, который объяснил нам, что капитан Шмидт, прождав нас лишних два часа, воспользовался попутным ветром, снялся с якоря, да и был таков. Можете себе представить мою досаду и смущение.

Не зная, что предпринять, зашел я в английскую таверну, спросил себе портеру и сел у окна, откуда видны были пристань и морг. За ближайшим столиком сидели матросы и разговор их меня заинтересовал. Старик-матрос уверял своих собутыльников, что ветер часа через два непременно стихнет и парусники отойдут за рейд не более, как на один-два узла. У меня явилась надежда, которая в самом деле оправдалась.

Капитан «Дианы», став поневоле на якорь, послал за мною катер, и часа через два я уже взбирался по веревочной лестнице на корабельную палубу. Наш корабль не внушал к себе большого доверия. Снасти и перегородки скрипели зловеще. Экипаж состоял из капитана, рулевого и трех матросов. Пассажиров было четверо, и я в том числе. Мы помещались в одной каюте, где было четыре койки. Мои товарищи по путешествию, оказавшиеся купцами-немцами, тотчас же легли в койки, отказываясь от пищи, в предчувствии морской болезни. Мы пообедали вдвоем с капитаном, подкрепив себя, по его совету, английской горькой.

Я не стану рассказывать о том, как мы две недели носились по морю, изнемогая в борьбе со стихией, пока не вошли с величайшим трудом в гавань Травемюнде; я не стану также повествовать о моем путешествии по Европе, о том, как я переплыл Ла-Манш и попал в Лондон, где легко нашел Николая Ивановича Тургенева, коему и вручил письмо от Германа. Теперь, благодаря великодушию сего просвещенного соотечественника и брата нашего по ложе, я получил здесь заработок и счастлив, что нахожусь под защитой британских законов: никакое деспотство мне теперь не страшно. Однако нередко я тоскую по родине. И вот я решил записать мои воспоминания. Хотя я неискусен в слоге, но правдивые мемории всегда — полагаю — представляют интерес для потомства.

Мне было десять лет, когда батюшка вернулся из походов. В качестве штаб-лекаря прошел он с конной гвардией всю Европу, побывал в Париже, видел там много занятного и привез оттуда шелковые жилеты, подзорную трубку и новейшие издания Фернейского мудреца. Во время этих походов, в сражении под Лейпцигом, был тяжело ранен один из наших конногвардейцев, блестящий и богатейший молодой человек, князь Сергей Матвеевич Гудалов. Санитары подобрали его на поле сражения и принесли к батюшке в лазарет. Вот этого князя Гудалова спас мой отец от верной смерти. Всегда внимательный к раненым, на сей раз он проявил особливую заботливость. Почему-то полюбился ему молодой князь, и батюшка ходил за ним, как мать за младенцем. Не предвидел тогда мой отец, какое значение будет иметь в нашей жизни этот офицер. Однако не буду предупреждать событий.

Итак, батюшка, вернувшись в Санкт-Петербург, поселился в Измайловском полку и зажил небогато, но мирно и благополучно. Матушка моя, Евдокия Петровна, была женщина кроткого нрава, во всем с мужем согласная. Она решалась робко ему прекословить лишь в тех редких случаях, когда батюшка, выпив пуншу, вдруг, бывало, начнет вольнодумствовать. Должен признаться, что, подрастая, при таких спорах был я обычно на стороне отца, а сестра Машенька всегда сочувствовала матушке. Впрочем, при родителях мы оба помалкивали, робея. Машенька была на год старше меня. Надобно сказать, что мои родители были столбовые дворяне, хотя наши деды уже давно утратили свои поместья. Крепостных у нас не было. Единственная служанка, Елисавета, работала у нас по вольному найму. Само собою разумеется, что родители мои не могли поддерживать знакомств в высшем круге, но, как теперь я понимаю, на беду нашу батюшка с матушкой бывали иногда у графа Милоладовича, который приходился матушке двоюродным дядей. Обыкновенно нас, детей, возили к нему на елку в сочель-

ник. Так, в злополучный 1817 год повезли нас на эту неприятную елку, одев меня Гарун-аль-Рашидом, а сестрицу Машеньку Зетюльбою, которую в тот год танцевала на Большой сцене Истомина в балете «Калиф Багдадский» господин Дидло.

Как сейчас помню этот вечер. Хотя я был тогда подростком, однако я прекрасно понимал, что матушка смущена своим небогатым туалетом и чувствует себя худо в блестящем обществе. Я тоже дичился и жался в угол. Но батюшка, не стесняясь, разгуливал по залам. Поймав хозяина, он сказал ему, добродушно смеясь:

— А видал ли ты, граф, как танцует моя бесприданница? Она за пояс заткнет всех ваших танцовщиц. Я возил мое семейство в Большой театр, и моя Машенька изображает теперь Зетюльбу лучше Истоминой.

— Ишь, расхвастался, лекарь, — сказал Милорадович, считавший себя лучшим на Руси знатоком балета. — Ну что ж! Покажи свою дочку...

— Я всегда готов, ваше сиятельство. Машенька! Пойди сюда...

К моему удивлению, Машенька, не смущаясь, подошла к графу и присела церемонно, совсем как взрослая девица.

— Князь! Князь! — крикнул Милорадович известному балетоману Гагарину.

— Ты ведь знаешь наизусть музыку «Калифа». Сыграй-ка, брат, танец Зетюльбы при встрече с Гаруном. Помнишь?

— А зачем? — спросил князь.

— Да вот, видишь, у нас новая танцовщица — Машенька Груздева.

— Посмотрим, посмотрим, — сказал князь, направляясь к клавишину.

Я чуть не умер от самолюбивого страха. Бедная матушка, вероятно, вполне разделяла тогда мои чувства. Однако Машенька не осрамилась.

Поднявшись на пальчики, пробежала она по зале, как легкая козочка. Ее обнаженные до плеч ручки были нежны и гибки, как стебельки... Я не узнал моей Машеньки. Она как будто совсем изменилась. «Да полно, она ли это?

— думал я. — Не сама ли Зетюльба явилась в Петрополь, покинув свою сказочную страну?» Я покосился на графа. Увидев его восхищенное лицо, я понял, что он пленился Машенькой.

— Ну, что вы скажете, ваше сиятельство? — молвил очень серьезно граф.

— Надо Машеньку приготовить к сцене...

Батюшка замахал руками.

— Нет, ваше сиятельство, это уж лишнее. Какая уж тут сцена! Пусть подрастет и матери по хозяйству помогать научиться...

Но граф был упрямый человек. На другой день к нашему дому подъехала карета, запряженная четверней, и граф вошел, наполнив всю квартиру своим чревным смехом и бряцанием шпор. Он стал уговаривать моих родителей отдать Машеньку в театральное училище. Долго они отказывались. Матушка даже заплакала. Но граф Милорадович был человек упрямый, а в нетрезвом виде говаривал: «Кто смеет мне перечить! У меня в кармане шестьдесят тысяч штыков». В самом деле, граф распоряжался петербургским гарнизоном, как хотел — до поры, до времени, впрочем...

II

Судьба Машеньки была решена. По воскресеньям я встречался с нею в нашей квартире в Измайловском полку. Машеньку привозили из училища в огромной рыжей карете, запряженной клячами, а я прибежал из пансиона мосье де Грассена, куда меня отдали, решив, что по слабости моего здоровья мне нельзя быть военным.

Мне было приятно смотреть на кудри Машеньки, на ее темные, нередко широко раскрытые глаза, на ее загадочную улыбку... Я был даже несколько влюблен в мою сестру. А у меня были поводы для настоящей ревности. Машенька рассказала мне, взяв с меня слово, что я буду хранить тайну, как знатные и богатые повесы ухаживают за воспитан-

ницами театрального училища. Ее подруги получали, оказывается, цветы и конфеты от господ офицеров, а когда театральная карета выезжала из училища, настойчивые обожатели преследовали ее — кто в санках, а кто верхом, бросая в окна любовные записки.

Недавно, пока карета стояла у театра и кучер дремал на козлах, какой-то юный граф забрался в нее и спрятался под сидениями. Машеньки на этот раз в карете не было, но подруги говорили, что это было очень весело и смешно. А я не находил в этом ничего веселого, и Машенька как будто со мною соглашалась. Но на губах у нее блуждала загадочная улыбка, и это меня смущало.

В тот самый год, когда Машенька блистательно окончила курс театрального училища, я покинул заведение монастыря де Грассена, научившись там объясняться на французском и английском диалектах весьма изрядно. Надобно было помогать родителю, и я поступил на службу в правление «Российско-Американской Компании», коего дом помещался тогда у Синего моста. Мне поручили вести иностранную корреспонденцию. Я сидел на высоком табурете за конторкою и, очинив искусно перо, писал каллиграфически коммерческие бумаги. Не прошло и двух недель, как мною овладела томительная скука, и я сетовал на судьбу.

«Пристойно ли мне, дворянину, — думал я, — корпеть над этими торговыми письмами? Вот она — бедность. Будь у моего отца тысяча душ — и я мог бы надеть гвардейский мундир и жить в свое удовольствие».

Мои сослуживцы были народ скромный и бедный — почти все из разночинцев. Им казалось большим счастьем, что они попали на службу в «Российско-Американскую Компанию», где платили жалованье не такое маленькое, как в департаментах, и не было надобности выклянчивать у просителей мелкие взятки. Но я был мечтатель и жил в предчувствии каких-то перемен.

Однажды, отодвинув в сторону большую разграфленную книгу, я стал в задумчивости писать на клочке бумаги хореические строки:

Где ты, дивная фортуна?
Я ли пасынок тебе!

Грызая перо, я тщетно искал подходящую рифму и старался к концу третьей строчки приладить слово «перун» в родительном падеже. В это время я заметил, что кто-то стоит рядом и смотрит на мое писание. Я обернулся. Это был правитель нашей канцелярии, Кондратий Федорович Рылеев. Я почувствовал, что румянец залил мои щеки.

«Вот тебе и фортуна! — подумал я. — Не пришлось бы мне волей-неволей покинуть службу, огорчив батюшку».

Однако прекрасные огромные глаза нашего управляющего вовсе не выражали гнева.

— А я не знал, сударь, что вы — поэт, — сказал он, улыбаясь. — Приходите как-нибудь ко мне почитать ваши стихи. Что касается фортуны, поверьте мне, что мы сами должны владеть нашей судьбою, а с тиранствами людей надобно бороться, не падая духом.

Эти несколько загадочные и торжественные слова произвели впечатление на мое юношеское сердце.

В ближайшее воскресенье я не без волнения переступил порог дома Кондратия Федоровича. Когда я вошел в гостиную, из кабинета долетали голоса споривших.

— Ты поставляешь славою вызывать к себе внимание всех, беря на себя роль Брута, однако, любезный друг, счастье соотчичей превыше всего и надобно самолюбие спрятать подале.

Другой голос, молодой и страстный, возражал:

— Самовластие непереносно. Ты знаешь, Кондратий, мои чувствования. Я не Брут, но мы позорно бездействуем. Ты знаешь, я взял отставку и оделся по-цивильному, чтобы развязать себе руки...

Рылеев отвечал:

— В рассуждении службы ты прав, но подумай, брат...

Тут я нарочно кашлянул и голоса притихли. Спорщики стали беседовать шепотом. Рылеев вышел из кабинета вместе с незнакомцем. Последний тотчас же удалился, бросив на меня рассеянный взгляд. Любезный хозяин познакомил

меня с своею милою женою, Натальей Михайловной, которая обошлась со мною весьма ласково. Выбежала и дочка супругов, четырехлетняя смутлянка Настенька. Надо ли говорить о том, что я стал часто посещать эту добрую обитель? Здесь я встретил таких людей, о знакомстве с коими я и не мечтал. Правда, круг посетителей этого дома был разнообразен, и я видел здесь иногда лиц, весьма подозрительных, но зато именно в этом доме я впервые услышал из уст самих поэтов их сладкозвучные сочинения, здесь я научился ненавидеть тиранство, здесь просвещенные люди дали мне прочесть книги — Монтескье, Беккариа, Делольма, Детю де Траси... Здесь же встретил я Германа, который внушил мне особую доверенность. Он разъяснил мне мой собственный путь.

Однажды, после шумного собрания у Рылеева, мы пошли с Германом вдоль Мойки. Была ночь. Луна, едва ущербная, стлала серебристые ткани на крышах, на стенах, на мостовой...

— Друг мой, — сказал Герман, пожимая мою руку, причем я почувствовал, что он как-то странно и как будто не бесцельно коснулся суставов моего указательного пальца. — Друг мой! Вот мы с вами сблизились. Я убедился, что добродетель дороже вам самой жизни... Но вы знаете, что один в поле не воин. Надобно братское единение, дабы победить в мире злые козни староверов, исполненных всяческих предрассудков. Надобно измерять, кроме того, наши действия циркулем разума и располагать наши поступки по углу совести...

Такие выражения, как «циркуль разума» и «угол совести», были не совсем понятны, но взволнованный голос моего собеседника и блеск его темных глаз как-то повлияли на меня.

А Герман, заметив, должно быть, что я внимательно слушаю его, продолжал свою загадочную речь:

— Судьба дражайшего отечества для нас не маловажна, но сердцу нашему не менее любезна мысль о счастье всего человечества. Но в чем сие счастье?

Не приемлет ли оно свое начало в глубокой тайне? То, что недоступно одному человеку, иногда открывается общими усилиями братьев. Существует, по замыслу Великого Архитектора, единый план всемирного счастья. Но план этот немотствует, пока истинное братолюбие не откроет нам ключа к его познанию...

Мы остановились. Облако набежало на луну, и все погрузилось в волшебный сумрак.

— Хочешь ли быть нашим братом? — воскликнул Герман.

— О, да! Хочу, — сказал я, недолго думая.

Через неделю Герман заехал за мною в карете. Он завязал мне глаза платком. Карета кружила по городу довольно долго. Наконец, мы приехали, и Герман привел меня в какой-то дом. Мне сказали, что, когда наступит полная тишина, я могу снять с глаз мою повязку. Я добросовестно прислушивался и, убедившись, что все беззвучно, сдернул платок. Я ждал чего-нибудь необыкновенного, и поэтому не очень удивился, увидев перед собою черный стол и на нем череп и две берцовые кости. Из глаз черепа выбивались синие огоньки и пахло спиртом. Тут же, на столе, стояли песочные часы и лежала толстая раскрытая книга. Оглянувшись, я заметил, что в углу комнаты стоял открытый гроб и в нем мертвец. Я невольно вздрогнул, но любопытство преодолело робость, и я, приблизившись к гробу, заглянул в него и тотчас же убедился, что передо мною не труп, а кукла, и это меня успокоило. Впрочем, новое смущение мною овладело: не наблюдает ли за мною кто-нибудь невидимый?

Вся комната была затянута черным, и три слабо мерцавшие восковые свечи, прикрепленные к треугольнику, подвешенному к потолку, едва освещали мою темницу. Я обошел стены, ища выхода, но дверь была так искусно скрыта, что непонятно было, куда девался мой спутник и руководитель. Минут десять стоял я в этой черной храме, недоумевая и стараясь настроить себя благоговейно.

Совесть несколько мучила меня, ибо я чувствовал, что не следовало мне, профану, так бесцеремонно разглядывать внутренность гроба.

Наконец, открылась потаенная дверь и вошел кто-то в синем плаще.

Вглядевшись, я узнал в незнакомце молодого барона Остена, которого я не раз встречал у Рылеева. Барон подошел ко мне и сказал торжественно:

— Вы видели в сей храмине токмо свет трисиянный, а все прочее было тление и мрак. Вы получили некое весьма изобразительное поучение. От вас ныне требуется исполнение семи должностей — повиновение, познание самого себя, отвержение гордыни, любовь к человечеству, щедротолюбие, скромность, любовь к смерти...

Он говорил долго, и, так как он стоял довольно близко, я чувствовал, как от него пахнет сигарою и какими-то крепкими духами. Потом он сказал:

— Снимите, профан, ваш сапог с левой ноги.

Я повиновался.

— Теперь, — сказал он, — расстегните ваш жилет.

Барон вытащил из-под плаща шпагу и приставил ее к моей груди.

— Простите, — пробормотал он сконфуженно, — я забыл завязать вам глаза.

Меня повели. Откуда-то доносилось пение:

Мужайтесь, братия избранны,
Небесной мудрости сыны...

III

Сестра была в чрезвычайном волнении. Ей дали, наконец, большую роль в балете «Зефир и Флора». Судите сами, что должна была испытать моя крошечная Машенька! Ведь ей предстояло выступить на сцене, где танцевала сама Авдотья Ильинична Истомина. Большие спектакли давались в театре, который построил архитектор Модюи после того, как старый театр сгорел в ночь на 1 января 1811 г. Мне было тогда семь лет, но я помню этот пожар или, вернее,

тогдашние о нем разговоры. Дома Машеньку всегда можно было застать перед трюмо. Она, раскрасневшись, упражнялась на разные лады неумоимо, и иногда, не выдержав, я умолял ее не мучить себя бесконечными фуэте. Но она, поглядев на меня рассеянно, продолжала кружиться.

Настал день спектакля. Я, кажется, волновался не менее Машеньки. В зрительный зал я вошел едва ли не первым. Свечи, впрочем, были уже зажжены и камердинеры — помнится — стояли на своем посту. К этому вечеру шил я себе новый синий фрак, модный жилет, и Машенька, несмотря на свои волнения, удосужилась повязать мне галстук собственными ручками. Но туалет мой меня стеснял: злодей портной сузил фрак безбожно, а переделать его не было времени, ибо я получил свою обновку за два часа до спектакля.

Я со страхом смотрел на огромный занавес. «Какова, — думал я, — будет сестра на такой большой сцене?» Я не мог себе представить на ней мою маленькую, хрупкую и нежную Машеньку.

В оркестре стали настраивать инструменты, и партер наполнился франтами. Я старался держаться подальше от первых рядов, где блистали звезды. Знакомых у меня было мало. Только Рылеев ласково кивнул мне, да Герман, как всегда, многозначительно посмотрел мне в глаза и коснулся моей руки на особый лад, храня правило братства. Однако сие мало меня ободрило.

Сердце мое изнывало в мрачном предчувствии, но — увы! — я не знал тогда, откуда мне угрожает опасность и чего мне надо страшиться.

Запели скрипки, открылся дивный павильон Гонзаго и кордебалет наполнил сцену. Лорнеты и подзорные трубки замелькали в партере. Я был как во сне, изнемогая от волнения.

Наконец, вся в розах, появилась Машенька. Фигурантки расступились, и, как юная Афродита, она подняла свои лилейные руки, царствуя над толпою. На сцене она не казалась такою маленькою, как в жизни. Истомина была почти такого же роста, как Машенька.

Несколько арабесок, несколько полетов — и зал почувствовал, что дебютантка владеет своим искусством. Однако все ждали любовной сцены. Я не узнал Машеньки. Откуда у нее это страстное томление, этот влюбленный трепет, эта стыдливость и эта нега! Или это мне все померещилось? Но нет, кто-то крикнул восторженно — браво! — и весь зал поднялся, рукоплеща.

Не помня себя, бросился я за кулисы. Слуга загородил мне дорогу, но я оттолкнул его и увидел Машеньку, которая дышала громко, с трогательными капельками пота на лбу, проступившими сквозь серебристую пыль пудры.

Во втором антракте, когда я стоял перед Машенькою на коленях, завязывая ей туфельку с тупым носком, горничная подала ей карточку, на которой я прочел: князь Сергей Матвеевич Гудалов.

В узенькую дверь уборной просунулась сначала треуголка с султаном, потом и вся фигура гвардейца в белых, как снег, лосинах, в флигель-адъютантском мундире. У князя были совсем синие глаза (я таких ни у кого не видел), толстые губы, сложенные в капризную улыбку, и довольно приятный овал лица.

Щелкнув шпорами, он свободно заговорил с Машенькой, как будто они уже старые знакомые.

— Я знал вашего батюшку, — сказал он. — В сражении под Лейпцигом, раненый, был я на его попечении и весьма обязан его вниманию. Мне приятно выразить свое восхищение талантами его прелестной дочери.

Машенька раскраснелась.

— А это мой брат, — сказала она, указывая на меня.

Гвардеец кивнул мне довольно небрежно, по-прежнему улыбаясь. Я злился, чувствуя себя почему-то обиженным.

«Если бы портной не сузил мне так смешно фрака, этот князь...» — на этом мысль моя оборвалась, ибо я не знал, как поступил бы князь, если бы мой фрак сидел на мне лучше.

Я полагаю, что с этого вечера начались мои несчастья.

Князь Гудалов приехал к нам на другой же день. Он совершенно очаровал батюшку. Матушка не так им пленилась, но и она, крестясь, говорила:

— А может быть, в самом деле и вовсе он не повеса, да и родители его, говорят, люди весьма почтенные.

Однако с родителями своими он семейства нашего не знакомил. Зато у нас бывал он часто, слишком часто, по моему понятию. Возможно, что в Машеньку он влюбился с совершенною искренностью. Он привозил ей цветы, конфеты, французские романы и помогал ей вышивать на пальцах. Иногда Машенька заставляла князя держать шерсть, расставив широко руки, пока она мотала ее на клубок. И он сидел недвижно, устремив на Машеньку свой синий взор и улыбаясь, как мне казалось тогда, бессмысленно.

Однажды, когда батюшка был на службе, а матушка поехала служить панихиду по дедушке на Смоленское кладбище, явился князь и, весело болтая, уселся с Машенькою на диване. Он все просил, чтобы она своими пальчиками положила ему в рот конфетку. Я сидел тут же в гостиной, слушал и удивлялся, что Машенька как будто находит забавной болтовню князя.

— Извините, князь, я должен сейчас зайти к барону Остену, — сказал я почему-то, вставая, хотя прекрасно сознавал, что мое присутствие не так уж князю желанно.

Он с добродушным удивлением взглянул на меня и ничего не ответил.

Обойдя квартал, я направился домой, ибо идти к барону Остену не было у меня никакой надобности. Я прошел в квартиру через черный ход со двора, не желая тревожить звонком нашу строптивую и ворчливую Елисавету. Раздевшись в передней, я взялся за ручку двери и вдруг заметил, что сердце у меня бьется чаще и беспокойнее, чем всегда. Не постучав, распахнул я дверь и увидел, что князь целует Машеньку.

Он стоял спиною ко мне. Головка Машеньки была запрокинута и ее кудряшки пробивались между пальцами князя. Я попятился назад, не дыша, чувствуя, что случилось что-то страшное и непоправимое. В это время Машенька вскрикнула, и князь обернулся.

— А! Это вы! — пробормотал он растерянно, заметно бледнея.

Я остановился на пороге и смотрел в упор на князя. Тогда он подошел ко мне с улыбкою, стараясь казаться спокойным.

— Вы смущены, молодой человек. Я могу вас успокоить. Мои отношения с Машенькою не должны быть секретом. Дурных намерений у меня нет. На днях я объяснюсь с вашими родителями.

— Я никогда, князь, не сомневался в том, что вы благородный человек! — воскликнул я с чрезвычайным жаром.

Он усмехнулся и ласково потрепал меня по плечу. Машенька в это время сидела молча, закрыв лицо руками.

На другой день князь привез мне подарок — превосходный кинжал аутсбургской работы с клеймом в виде головы мавра, с дивной ручкой из слоновой кости. Лезвие было отпущено.

IV

Князь продолжал бывать у нас почти каждый день. Он был по-прежнему самоуверен и весел. Он восхищался Машенькою и целовал у нее ручки, не смущаясь присутствием батюшки и матушки. Машенька смотрела на него нежными глазами. Нередко он привозил ее из театра в своей карете.

Однажды я пробовал заговорить с отцом о судьбе Машеньки и о нашем князе. Батюшка сначала нахмурился, а потом добродушно рассмеялся:

— Неужели ты не понимаешь, — молвил он, слегка краснея, — что князя Гудаловы не какие-нибудь незнакомцы. Неужто князь Сергей Матвеевич замазает мундир бесчестным поступком! Разве он не знает, что Машенька такая же дворянка, как и его сестры?

— Однако он до сих пор не познакомил Машеньку с своим семейством! — воскликнул я запальчиво.

Батюшка покраснел сильнее и, нагнувшись к столу, дрожащими пальцами начал перебирать какие-то бумаги.

Мне стало его мучительно жалко, и я замолчал, щадя

его растревоженное стариковское сердце.

Весною князь объявил Машеньке, что он должен поехать на две недели к его матери в подмосковное. Он в самом деле на Фоминой уехал, побывав у нас на Пасхе только один раз и притом не один, а в обществе некоего Денисевича, бравого усача и большого повесы. Машенька старалась быть веселой, как будто не замечая странности в поведении князя. Однако не две недели, а целый месяц прошел, а князь не возвращался из подмосковной. Я был в немалой тревоге, особенно после одного разговора, коего свидетелем я был.

Это случилось на завтраке у Рылеева. У Кондратия Федоровича был обычай устраивать так называемые русские завтраки. На стол подавалось всегда одно и то же — очищенное вино, черный хлеб и шинкованная капуста. Молодежь посещала эти скудные завтраки охотнее, чем пиры вельмож. Однажды на таком собрании незнакомый мне лейб-улан сказал, между прочим, своему собеседнику:

— Княгиня Гудалова женит своего сына на графине Вотчиной. А молодой князь, говорят, влюблен в танцовщицу Груздеву. Впрочем, мамаша женщина властная и едва ли...

Я не слышал конца разговора, но уже все было ясно. Мои подозрения оправдались вполне.

После завтрака я подошел к Рылееву и сказал ему, что мне надобно с ним переговорить. Он ласково кивнул мне головою. С полною откровенностью рассказал я Кондратию Федоровичу печальную историю моей сестры. Наконец, я выразил ему мои чувства и просил совета.

Рылеев ходил по комнате взволнованный, заложив за спину руки, и, по своей привычке, пристукивал каблуком на каждом повороте...

— Да, — сказал он, — наша аристократия непереносна. Эти баловни судьбы воображают, что им все позволено. Гражданин обязан бороться с поруганием добродетели. Сей долг лежит на совести каждого.

Потом, бледнея, Рылеев воскликнул:

— Я плюну в лицо этому князю Гудалову. Пусть он требует сатисфакции.

— Нет, — сказал я, сжимая руку этого великодушного человека, — я не допущу, чтобы вы из-за меня рисковали вашей головой. Я — дворянин, и князь Гудалов не смеет отказать мне... Я потребую объяснений, а ежели оные будут неудовлетворительны, я буду с ним стреляться.

— Вы слишком молоды, друг мой, — сказал Рылеев грустно. — Я боюсь, что князь откажется от поединка с вами под предлогом вашего несовершеннолетия.

— Так я заставлю его драться, — вскричал я.

Вернувшись домой, я увидел в передней шинель князя. По правде сказать, я удивился. Вошед в гостиную, я застал там князя и сестру в волнении. У них, по-видимому, были объяснения весьма тяжелые.

— Здравствуйте, сударь, здравствуйте, — сказал князь, рассеянно протягивая мне руку.

Первым моим движением было оттолкнуть протянутую руку, но я преодолел этот соблазн, сознавая, что я пока не имею права брать на себя почин ссоры.

А Машенька, не обращая на меня внимания, продолжала разговор, прерванный мною невольно. Как она была прелестна, раскрасневшаяся, с глазами, плававшими негодованием!

— Я не понимаю вас, князь, — говорила Машенька голосом тихим, но предвещавшим бурю. — Вы изволили сказать, что ваша матушка против того, чтобы вы посещали наш дом. И прекрасно.

Зачем же вы явились к нам — разве для того только, чтобы оскорбить меня вашим сообщением? Впрочем, вам делает честь ваша покорность воле вашей матушки...

Она встала, давая понять, что князю больше нечего здесь делать. Тогда он упал перед нею на колени, воскликнув не притворно:

— Но, Машенька, я люблю тебя. Помедли немного. Я постараюсь убедить мою матушку в необходимости нашего брака.

Сестра недоверчиво покачала головою. На глазах у нее были слезы. Я не мог выдержать этой сцены и стремитель-

но вышел из дому, на ходу надевая шинель. Я нисколько не верил в благополучный исход этой истории.

На другой день Машенька получила оскорбительное анонимное письмо с намеками на измену князя. Очевидно, какая-нибудь неудачливая соперница по сцене мстила ей, злорадствуя по поводу ее несчастья. Сестра показала письмо матушке, а та рассказала мне об этом, прося у меня совета. Кровь бросилась мне в голову.

— Не волнуйтесь, матушка, — сказал я. — Все скоро разъяснится. Я потребую от князя формального предложения. И пусть тогда Машенька сама откажет ему. Наша семейная честь не пострадает, а повеса будет свободен и женится на какой-нибудь светской и богатой ветренице.

— Но ведь Машенька любит его.

— Любит? Но она скоро сама увидит, какой это ничтожный человек.

— Ах, милый, — воскликнула матушка, — любовь слепа...

Будучи застенчивым от природы, смущаясь к тому же моею молодостью и незнанием светских правил, я, натурально, робел в ожидании моего свидания с князем, который назначил мне его в Летнем саду. Придя часом ранее, я прохаживался по набережной перед решеткою, в рассеянности натываясь на гуляющих, из коих иные бросали на меня удивленные взгляды, а иные делали мне сердито замечания. Вдруг мне пришла в голову несчастная мысль поддерживать душевную бодрость вином. Это было тем менее разумно, что доселе я совсем избегал спиртных напитков, и даже у Рылеева ни разу не выпил больше рюмки.

Против ворот сада, как всем петербуржцам известно, привязана к набережной барка, на коей помещается знаменитый трактир «Ласточка». Туда я и направился, ощутив в боковом кармане бумажник, только что мною купленный в английском магазине. Усевшись за один из круглых столиков, расставленных под навесом, я недоумевал, что бы такое спросить покрепче. Напротив меня сидел флотский офицер, который пил виски, разбавляя желтоватую влагу содовой водой. И я заказал себе то же самое, хотя до сих пор ни разу не пробовал этого странно пахнущего на-

питка. За бортом плескалась вода. Баржу слегка покачивало. Три еврея в длинных сюртуках играли на скрипках и виолончели что-то знакомое.

«Ах, да, ведь это танец Зетюльбы!» — вспомнил я, и мне тотчас же представилась елка у графа и маленькая Машенька, танцующая среди гостей.

«Если бы не каприз этого властного генерала, — подумал я, — не случилось бы вовсе, быть может, в нашем семействе того несчастья, которое теперь нудит меня требовать сатисфакции...»

Так размышляя, я подливал и подливал в высокий стакан виски и вовсе не замечал при этом, что хмель завладел мною понемногу. Правда, я чувствовал, что моя голова слегка кружится, но я это объяснял покачиванием баржи и монотонными плесками волн, набегавших на ее борт.

Наконец, часы пробили три, и я поспешил расплатиться. Подвинув на столике сдачу кланявшемуся мне слуге, я встал, и только тогда для меня стало ясно, что я нетрезв. Однако с улыбкою на губах, вероятно, не слишком умной, направился я в Летний сад, на сей раз в самом лучшем настроении, с надеждою, что князь, признав мое благородство, назовет меня своим братом.

По дорожкам сада гуляли светские красавицы в сопровождении штатских франтов и гвардейцев, и я, ослепленный блеском нарядов, потерялся в толпе, тщетно ища статную фигуру Гудалова. Я, было, решил даже покинуть сад, когда вдруг увидел идущего прямо на меня князя в сопровождении Денисевича, который громко смеялся, крутя усы. Я двинулся навстречу к моему обидчику и, встретив его холодный и озабоченный взгляд, понял, как были напрасны мои надежды. Он, не протягивая руки, пробормотал мне «идите направо» и, шепнув что-то своему спутнику, свернул на боковую дорожку.

Когда мы очутились с ним бок о бок, он мне сказал недовольным тоном:

— Мы с вами, сударь, условились быть здесь к двум часам, а сейчас половина четвертого. Тут много моих знакомых в эти часы, и нам надо скорее кончить наш разговор.

— Я не намерен задерживать вас, князь, — сказал я, чувствуя, что голос мой дрожит. — Вы сами пригласили меня сюда...

— Да... Да... — я сам пригласил, — сказал он рассеянно. — Но не мог же я позвать вас к себе, когда у меня к тому же сейчас живет матушка, которая третьего дня приехала из подмосковной...

— Я слушаю вас, — перебил я его, не скрывая гнева, чувствуя, что хмель бросился мне в голову. — В чем дело?

Князь с удивлением на меня посмотрел.

— В том дело, — сказал он, стянув с правой руки перчатку и разглядывая свои ногти. — В том дело, что вы должны повлиять на свою сестру. Она не хочет быть благоразумной, а я не вижу выхода из положения, которое создалось. Вы знаете, что я неравнодушен к прелестям и талантам вашей сестрицы, но свет имеет свои законы, и я не такой герой, чтобы пожертвовать своей карьерой и милостями моей матушки. У меня нет своего состояния.

Подумайте, какова будет наша жизнь, ежели я женюсь на Машеньке. Не могу же я поступить чиновником в департамент. Нам надо расстаться: другого нет выхода.

По правде сказать, я все-таки не ожидал, что князь решится на такую грубую откровенность.

— Как, — вскричал я, забыв, что мы в Летнем саду и что нас могут услышать посторонние. — Как! Вы решаетесь предложить мне такое посредничество? Вы хотите, чтобы я уговорил мою сестру признать ваше поведение благоразумным... А вы? О чем вы думали, когда посещали наш дом ежедневно? О чем вы думали, когда говорили моей сестре о любви? Ведь я был свидетелем...

Я не заметил, что нас уже догнал Денисевич, который слушал мою пылкую речь, смеясь мне прямо в лицо.

— Эге, князь! — сказал он, оскаля белые зубы. — Вы, я вижу, готовы расчувствоваться и просить прощения у молодого человека...

— Оставь, Денисевич, — я сам... — сказал князь, видимо, смущаясь.

В это время около нас оказалась целая компания кавалеров.

леров, окружавших княгиню Гудалову и какую-то прелестную девицу, которая вела старуху под руку. Княгиню я тотчас же узнал. Мне ее однажды показывали на гулянье.

Поравнявшись с нами, княгиня навела лорнет сначала на сына, потом на меня, и запела, слегка гнусавя:

— Куда ты пропал, друг мой? Это, наконец, нелюбезно. Мы тебя ищем, ищем...

Я совершенно потерялся, чувствуя, что все эти франты смотрят на меня с любопытством. К довершению позора Денисевич, нагнувшись к моему уху, прошептал довольно громко:

— Ступайте, юноша, домой. От вас пахнет вином. Набедокурите, а потом будете плакать.

Я не успел еще ответить новому обидчику, как вся компания поплыла по дорожке, увлекая за собою князя.

Я бросился к выходу и стал в воротах, следя за всеми выходящими из сада. Наконец, я увидел Гудаловых, неизвестную прелестную девицу с ними и прочих спутников. К саду подъехала коляска, и князь, посадив мать и юную красавицу, стал было сам на подножку. Я бросился к нему, худо сознавая, что я делаю, но чья-то сильная рука меня оттолкнула. Передо мной мелькнул на миг султан князя, и коляска была уже далеко в облаках пыли. Я обернулся.

Денисевич весело смеялся и грозил мне пальцем.

Я провел ужасную ночь, изнемогая в бреду. Со мною случилась нервическая горячка. Я пролежал в постели без памяти два месяца. Однажды, очнувшись, я увидел около себя Машеньку с озабоченным и строгим лицом. Я спросил ее, долго ли я так лежу здесь, но она замахала ручками и, склонившись, прошептала мне на ухо, что я должен молчать. Я тотчас же заснул крепким здоровым сном.

Поправляясь, я пользовался каждым удобным случаем, чтобы расспросить матушку о князе. Из кратких и неясных ее признаний уразумел я, однако, что князь перестал у нас бывать, живет в Москве и, кажется, намерен жениться на какой-то юной графине.

Наступила зима. Я стал посещать дом Рылеева чаще, чем ранее. Там слушал я увлекательные речи, кои звучали

для меня по-новому. Когда кто-нибудь гневно говорил об аристократии, я думал об оскорбителе, мечтая о мести.

В конце ноября до меня дошли слухи, что князь Гудалов вернулся в Петербург. Удостоверившись в этом, я на другой же день отправился на Английскую набережную, где жил князь, с твердым намерением увидеть его и принудить к поединку. Когда я подошел к высокому крыльцу со львами и огромный швейцар, опираясь на булаву, спросил меня строго, что мне надобно, мне представилась на мгновение вся нелепость моего замысла. Однако я овладел собою и просил доложить обо мне князю. Но князя не было дома, и мне сказали, что он вернется к вечеру. Провидение как будто давало мне срок на размышление.

Целый день я старался ни с кем не говорить, чтобы не отвлекать мыслей и воли от намеченной цели.

Наступил вечер. Шел снег. Подымалась метелица. Я опять очутился около княжеского особняка. Войдя на крыльцо, я толкнул дверь. Она отворилась.

Швейцар, по-видимому, был у себя в комнате. Я сбросил шинель и поднялся по широкой лестнице, устланной ковром. На верхней площадке также не было слуг.

Я, как во сне, направился в первую залу, большую и пустынную. Портреты вельмож, в париках, при звездах, смотрели на меня строго. Так я миновал еще, кажется, три комнаты и, наконец, почувствовал за полуотворенной дверью присутствие человека. Переступив порог, я увидел князя, который сидел перед камином в шелковом халате, куря трубку с длиннейшим чубуком.

Изумленный, он смотрел на меня, как на привидение.

— Как вы попали сюда? Зачем? — пробормотал он брезгливо.

— Молчите и слушайте, — сказал я, — это будет наш последний разговор.

— Нам, сударь, не о чем разговаривать с вами, — молвил сухо князь.

— Нет, есть о чем, — возразил я, чувствуя, что пол колеблется у меня под ногами. — Я пришел сказать вам, князь, что вы поступаете бесчестно. Мои родители, конечно, не

разрешат теперь сестре моей выйти за вас замуж, но вы обязаны сделать ей официальное предложение. И вы это сделаете, князь...

— Сие невозможно, — сказал он, опутив глаза. — Я только что сделал предложение графине Вотчиной...

— А! — простонал я, схватившись за голову. — В таком случае, я завтра пришлю к вам моего посредника. Мы будем драться.

— Мальчишка! — крикнул князь, ударив чубуком по столу. — Ты думаешь, что князю Гудалову пристойно выйти на поединок с каким-то Груздевым, да еще несовершеннолетним! Тебя, дружок, высечь можно...

— Негодяй! — завопил я, бросаясь на него.

Но между нами был стол. Князь уже неистово звонил в колокольчик, и два дюжих лакея торчали на пороге.

— Кто пустил сюда мальчугана? — кричал князь. — Гоните его вон...

Лакеи схватили меня за плечи и потащили через анфиладу комнат. В передней накиннули на меня шинель, нахлобучили на глаза шапку и, дав тумака, выбросили с крыльца прямо в снег. Вокруг меня выла метель. Все потонуло в снежной мгле. Я с трудом поднялся из сугроба и поплелся домой, мечтая о возмездии. О, я запомнил этот день. Это было в пятницу, 27 ноября 1825 года.

V

Утром на другой день, по обычаю, все наше семейство собралось вокруг кипящего самовара. У Машеньки было утомленное и заплаканное лицо: должно быть, она, бедная, не спала всю ночь. Что до меня, то, проходя мимо зеркала, увидел я здорового краснощекого малого. Ночью я спал, как убитый, и вчерашнее происшествие, оказывается, не повлияло на мое здоровье.

Однако гнев и страсть во мне кипели, и я не оставил своего решения отомстить князю.

Батюшка пил чай, курил трубку, а сам, хмурясь, поглядывал на сестру. В это время наша Елисавета подала батюшке «Северную пчелу». Отец привычным и ленивым жестом развернул газету, но вдруг трубка выпала у него из рук, и он, ударив кулаком по столу, закричал:

— Не верю! Не верю!.. Однако же не смею не верить...

— Что с тобою, отец? — залепетала матушка, заранее готовая к испугу и горю.

Батюшка встал и, запахнув левою рукою полу халата, стал читать торжественно:

«Неисповедимый в путях своих промысл всевышнего посетил Российскую империю горестию, коей никакими словами выразить невозможно. Прибывший 27 сего ноября из Таганрога курьер привез плачевную весть о кончине его величества государя императора Александра Павловича...»

Я уже ничего далее не слышал. Мысли вихрем закрутились у меня в голове. Прежде всего, Рылеев пришел мне на ум.

«Надо бежать к Синему мосту, — подумал я. — Авось, там поймут лучше, чем я, смысл сего чрезвычайного события».

Я так и сделал. Незаметно выбрался я из квартиры и, наняв дрожки, поехал в дом Американской компании. Отпустив извозчика, я заглянул в окно, защищенное с улицы выпуклою решеткою. Я увидел Рылеева и рядом с ним незнакомого мне офицера. Я позвонил, и служанка ввела меня в гостиную, как привычного посетителя, без доклада. Кондратий Федорович назвал мою фамилию, прибавив:

— При нем можно говорить откровенно. Он наш.

Офицер продолжал прерванную беседу, видимо волнуясь.

— Где же общество, — говорил он, — о котором столько рассказывал ты? Где же действователи, которым настала минута показаться? Где они соберутся, что предпримут, где силы их, какие планы? Почему это общество, ежели оно сильно, не узнало о болезни царя, тогда как во дворце более недели получают бюллетени об его опасном положении? Ежели есть какие-либо намерения, скажи их нам, и мы приступим к исполнению. Говори!

Рылеев молчал, смущенный нечаянностью событий. Наконец, он поднял кверху свои прекрасные глаза.

— Да, мы бессильны, — сказал он. — Я сам обманулся и обманул вас. У нас нет плана. Надо всем сойтись у меня ввечеру. А я пока поеду собрать сведения о расположении умов в городе и в войсках...

Я вышел вместе с ним из дому. У меня было намерение рассказать ему то, что произошло со мною накануне, но, взглянув на его лицо, я понял, что все личное и приватное надлежит пока забыть. Одним словом, я заразился тою лихорадкою, какая охватила тогда всех друзей Рылеева.

Две недели я жил, как во сне, ожидая геройских подвигов и чудес. Мне казалось, что россияне утолят жажду вольности.

«Напрасно, — думал я, — Рылеев старается охладить пыл своих друзей, предупреждая о возможной неудаче. Тиранству пришел конец».

Однако время от времени воспоминание о моей позорной встрече с князем Гудаловым отравляло мою душу ядом. Но я старался заглушить все эти горькие мысли в надежде, что, когда падет самовластительный злодей, князь придет ко мне первый просить у меня прощения. Я, впрочем, худо представлял себе персону этого самовластительного злодея, ибо никто не мог тогда толком уразуметь, какая судьба ожидает нашу империю и кто наследует престол Александра.

В бумажке, которую мне дал Рылеев, было сказано, что законный государь Константин, а Николай намерен отнять у него престол, а что Константин обещает народу вольность и что старых солдат он освободит от службы, а прочим сократит срок. Я в Измайловском полку читал бумажку солдатам и толковал им о тиранстве. Меня слушали охотно, но один заслуженный, с крестами, старик, лукаво подмигнув, сказал:

— Николай ли, Константин ли — все одно. Яблочко от яблони недалеко падает. Получше ли, похуже, а сидеть нам в луже, покелева господа власть имеют... А вы, сударь, чего хлопочете? Нам с вами дорожки разные...

Я отошел от него, смущенный, размышляя.

Тринадцатого декабря вечером я пошел к Рылееву. Там было много народу, а под окнами стояли сыщики, не таясь. Войдя, сказал я об этом хозяину, а он только рукой махнул. В комнате было так накурено, что лица всех плавали, как в тумане. Нередко кричали все разом, и каждый слушал одного себя. Я разглядел гостей не без труда. Были партикулярные, но больше было военных, все молодежь, — из пожилых, в чине полковника два-три. Один усатый офицер, с черною повязкою на лбу, кричал неистово, что он должен убить собственноручно тирана. Были и другие крикуны. А Рылеев был печален. Я слышал, как он, подойдя к одному гостю, сказал:

— Да, мало видов на успех, но все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды...

Но когда кто-то выразил сомнение, следует ли вообще начать действия, Рылеев воодушевился. Все примолкли. Один он говорил, блистая своими черными глазами:

— Наш гражданский долг спасти отечество. Судьба наша решена. Лучше быть взятым на площади, нежели на постели...

В этот вечер я был влюблен в Рылеева, и, когда я шел по набережной Мойки домой, голос его звучал у меня в душе, как музыка...

На другой день у меня была неудача. Я проспал. Когда я открыл глаза, кукушка на часах прокуковала ровно одиннадцать раз. Я наспех оделся и бросился в переднюю, но на пороге стоял отец, который загородил мне дорогу и сказал сердито:

— Куда спешишь? В городе неладно. Можешь сегодня на службу не ходить.

— Да я недалеко. У меня, батюшка, голова болит.

— Иван! — нахмурился он совсем строго. — Изволь остаться дома.

Потом он посмотрел на меня внимательно и, вероятно, убедившись, что я в лихорадке и за себя не отвечаю, взял меня под руку и повел в мою комнату.

— Сиди, — сказал он, втолкнув меня.

Дверь захлопнулась, и я слышал, как в замке щелкнул ключ.

Негодование моему не было предела. Мои вопли и стуки в дверь не помогли нисколько. Часа через полтора я услышал, как отец прошел в переднюю, скрипнула дверь, а я понял, что он теперь в больнице. Я стал кликать то матушку, то сестру. Сначала никто не подходил к двери, вероятно, по приказу отца. Наконец, я услышал робкие шаги Машеньки. Она шепотом, в замочную скважину, объяснила мне, что батюшка унес ключ с собою, строжайше запретив не только выпускать меня из комнаты, но даже и разговаривать со мною.

Тогда я стал придумывать способ выйти из моей темницы. Окно моей комнаты выходило в сад, но квартира наша была во втором этаже. Прильнув к стеклу, я убедился, что под моим окном есть небольшой выступ, а рядом водосточная труба. Это меня ободрило. Я схватил ножик и стал выставлять вторую раму. Минут через десять я, напавив на себя меховую куртку, в которой я ходил на охоту, и захватив кинжал — подарок князя — распахнул окно и пополз по трубе в сад. Выбежав беспрепятственно через калитку, я помчался, едва переводя дух, по Измайловскому проспекту. На Вознесенском мне пришлось замедлить свой бег, потому что густые толпы пешеходов двигались вдоль улицы, занимая не только тротуары, но и мостовую. Я стал прислушиваться к разговорам. И, право, многое показалось мне тогда вовсе неожиданным.

— Ишь, какую игру выдумали, — рассуждала, например, какая-то чуйка. — Два раза им присягай... Одному-другому. Помышляют, как бессловесными...

— А, сказывают, дяденька, будто Константин Павлович волю даст, — по обету, за исцеление супруги его светлейшей от недугов...

— Волю, милый, не дают, а берут... Бери — не зевай. А прозеваешь — кнута узнаешь...

— Чего зря болтать: Константин, Константин... А чем он лучше Николая? У меня сука оценилась... Все пятеро точка в точку. И не разберешь. Все едино — сукины дети.

Я пересек Морскую, но дальше идти было трудно. Из разговоров в толпе я понял, что мятежники окружены, что вокруг Исаакия, вдоль заборов, стоят войска и что на Адмиралтейском проспекте резервы. Но я решил пробраться во что бы то ни стало на Сенатскую площадь. Я направился к Почтамтской улице и натолкнулся там на Павловский полк, который шел в боевом порядке, чтобы отрезать мятежникам тыл. Я, однако, надеялся, что доберусь до Конногвардейского бульвара переулками, откуда я хотел выйти на площадь.

План мой удался. Ровно в три часа пополудни я стоял в толпе, зорко за всеми наблюдая, несмотря на нервическую лихорадку, которая мною овладела.

Уже начинало смеркаться. Снегу было мало, ноги скользили; над площадью висел синий туман; дул холодный восточный ветер...

Я видел, как со стороны Адмиралтейского проспекта выехал верхом на площадь сам Николай Павлович. Как только он приблизился к забору, окружавшему Исаакий, откуда раздались крики и брань рабочих и в царя полетели поленья. Одно полено ударило по ноге лошадь, на которой сидел государь, и она шарахнулась в сторону. Тогда Николай Павлович сделал воль-фас, лошадь заплясала, он повернул ее и поскакал назад.

Из каре раздался залп, но стреляли, кажется, в воздух, еще не веря, что будет кровь. Рискаю попасть под выстрелы, я пошел прямо на каре. Вокруг памятника Петру стояли москвичи, а рядом гвардейский экипаж.

Когда я вплотную подошел к инсургентам, чья-то дружеская рука меня приветствовала. Я поднял глаза и увидел Рылеева. Он был в солдатской перевязи, с сумкою и ружьем. Я не успел с ним перекинуться ни единым словом. Раздался крик, и я увидел, что прямо на каре, с обнаженными палашами, скачут конногвардейцы.

Большие лошади скакали как-то странно, тяжело, сбиваясь в кучу, пугаясь, должно быть, гололедицы. Ветер сваял последний снег.

Московцы дали залп, и я видел, как иные всадники, заматавшись, повисли на седле, а иные уже валялись на мостовой. Но несколько конногвардейцев продолжали скакать на нас, крича. Я невольно сжал крепко мой кинжал. В это мгновение я почувствовал, что надо мною горячая, показавшаяся мне огромной, лошадиная морда и поднятый высоко палаш. Я отшатнулся и тотчас же и лошадь, и всадник грохнулись около меня на обледеневшие камни. Худо сознавая, что делаю, бросился я на опрокинутого конногвардейца и, споткнувшись, упал ему коленами на живот. Я видел, как он силится освободить прижатую к земле правую руку, и вдруг мои глаза встретились с синими, с поволокой, его глазами, теперь широко раскрытыми от испуга. Я узнал Гудалова. Тогда я изо всех сил ударил его кинжалом в бок и почувствовал, как под моими коленами судорожно дернулся его живот.

Я худо помню, что было дальше. Кажется, были еще атаки кавалерии.

Потом заблестели прямо перед нами жерла орудий. Потом картечь. Потом страшное ночное небо и люди, как призраки.

СУДЬБА

Одного из них звали Николаем, другого Вениамином. Они жили на узкой и грязной улице, которая упиралась в линию бульваров. Их комната помещалась в пятом этаже. Из окон этого чердака можно было видеть город, который они усердно проклинали и тайно любили.

Город, с его лабиринтом крыш, с трубами, низкими и высокими, с дымом, то черным, то янтарным, то розовым: город таинственный в тумане, страшный при луне, трепетный на утренней заре и всегда сладострастный; город, смешивший в своей глубине все голоса, вопли, смех, музыку, вой ветра, бой барабана, грохот железа, удары камень о камень; город, с золотом куполов, с блеском американских витрин, с зелеными молниями трамваев: как они чувствовали этот город, эти два друга!

Старший из них, Николай, был художник. У него были зеленые глаза, обращавшие на себя внимание женщин; черты его лица были определены и точны, как будто бы природа позаботилась о том, чтобы сохранить в них лишь выразительное и необходимое; он тщательно брился и, несмотря на бледность, старался одеваться как можно строже. Его приятель Вениамин был поэт. На его бледном лице странно выделялись алые губы; его серые глаза были несколько тусклы, как будто бы внешний мир был отделен от них полупрозрачной завесой.

Николай писал *nature morte*, автопортреты, множество автопортретов, и небо из окна своего чердака. По стенам были развешаны полотна, где яблоки, арбузы и корки хлеба пленяли глаз геометрической угловатостью своих контуров; где сам художник смотрел из грубой рамы, как маска, застывшая в своей монументальности; где, наконец, городское небо гармонировало с красочной гаммой крыш...

Вениамин писал лирические стихи о любви, полугрустные, полунасмешливые, с неожиданными рифмами, ритмически изысканные, кончавшиеся загадочными полувопросами, которые ранили сердце, как отравленные стрелы.

Николай был безнадежно влюблен в молчаливую высокую девушку, чей портрет ему пришлось однажды писать.

Она жила в том же городе, но ее окружали люди иного общества, и Николай даже не мог теперь поддерживать с нею знакомство. Лишь изредка он видел ее то в театре, то в концерте. И это были счастливейшие вечера в его жизни.

Вениамин тоже был влюблен, но та, которая пленила его сердце, была замужем. Он познакомился с нею на скейтинг-ринге, когда она упала однажды, и ему посчастливилось ее поднять. Прикосновение маленькой нежной руки и синие глаза белокурой незнакомки были фатальны для поэта. Он познакомился также с ее мужем, акцизным чиновником, у которого был испуганный взгляд и рыжие бачки, и стал бывать в их маленькой квартире, казавшейся ему раем. Белокурая Маргарита была благосклонна к Вениамину, и, если бы не его лирическая слепота, он, может быть, добился бы ее признаний, но он предпочитал томиться и вздыхать, воображая, что Маргарита недоступна, как Беатриче.

Николай и Вениамин были друзьями, но они не перешли на «ты» и не делали друг другу интимных признаний, храня несколько чопорное и горделивое молчание, когда случайно речь заходила об их возлюбленных. Когда у них не было денег (а это случалось часто) и нельзя было идти в театр или ресторан, они сидели по вечерам дома, куря трубки с длинными чубуками и обмениваясь изредка замечаниями то по поводу какой-нибудь очаровательной книги, открытой одним из них, то по поводу картин какого-нибудь непризнанного художника, успевшего выставить свои холсты на одной из тех маленьких выставок, которые посещаются лишь немногими любителями, присяжными рецензентами и случайными обывателями, пожелавшими позубоскалить от безделья.

Однажды, когда два друга сидели так, окутанные синим облаком дыма, Николай сказал:

— Сегодня я заметил на улицах какое-то странное оживление; впрочем, я не уверен, что то, что я видел, можно назвать «оживлением».

— А что вы видели? — спросил Вениамин равнодушно, чертя привычной рукой профиль Маргариты.

— Я видел на бульварах и на тротуарах множество людей, которые спешили куда-то с решительными, мрачными и как будто торжественными лицами. Такие лица

редко встречаются. Не случилось ли чего-нибудь?

— Не знаю... Ах, да! я вспомнил, что сегодня мимо наших окон проскакали солдаты с пашками наголо. Не бунтует ли народ?

— История вообще загадка, — сказал художник, — но революция — это, может быть, самое непонятное в ней, по крайней мере, для моего ума. Как люди могут интересоваться политикой и проходить равнодушно мимо изумительных зданий, изысканных картин, остроумных книг...

— Друг мой, — возразил поэт, — все прекрасно — и тишина, и буря, и пристань, и открытое море, и мудрые книги, и глупая, слепая жизнь... Все прекрасно, если есть любовь...

— Любовь? Но в революции нет любви. Люди начинают борьбу или из честолюбия, или мечтая о призрачной свободе, или, наконец, побуждаемые голодом...

— Вы сказали — «голодом». Это напомнило мне о том, что я сегодня не обедал.

— Да? Представьте, я ведь тоже сегодня ничего не ел.

— Почему?

— У меня нет денег.

— Вот как! А у меня вчера были деньги, но я заказал букет из роз... Я должен отнести его сегодня... Но, впрочем, у меня еще есть немного мелочи. Если хотите, мы зайдем в кофейню и съедем там чего-нибудь. А потом я пойду к знакомым.

— Пожалуй, пойдемте, — промолвил художник и поднялся, чтобы взять шляпу.

Вениамин и Николай отправились в кофейню, где привыкли видеть пеструю толпу, всегда слегка возбужденную электрическим светом, шуршаньем женских нарядов, магическим сиянием глаз, ищущих и влекущих.

И на этот раз в кофейне было много публики, но иные почему-то не садились за столики, а стояли группами, громко разговаривая, жестикулируя, размахивая какими-то лиловыми листками. Один молодой человек, с бледным матовым лицом и сумасшедшими глазами, стал на стул и что-то крикнул о свободе и смерти. И все подняли руки, как будто для клятвы.

Публичные женщины с алчным любопытством смотрели на необычных посетителей и жадно слушали ораторов,

оставив нетронутыми чашки кофе и бокалы мазаграна; лакеи глазели, разиня рот, не выпуская из рук салфеток; барышня-кассирша стояла на цыпочках, вытянув напудренную шею...

— Это, кажется, революция, — проямлил художник и стал зарисовывать оратора на чистой стороне прејскуранта.

— Ах, это, право, занятно, — сказал поэт, — но я должен отнести розы моим знакомым.

— Если вы идете на ту улицу, я пойду с вами, — проормотал художник.

По странной случайности и Маргарита, и та, которую любил Николай, жили на одной улице. И Николай, не имея возможности войти к ней в дом, часами стоял под ее окнами.

Когда друзья вышли из кофейни, снежная мгла заволокла им путь. Снег падал большими хлопьями, влажными, теплыми, мягкими... Неожиданно в эти зимние дни наступила оттепель и возник голубоватый туман, окутав улицы своей пеленою. Туман, снег и огни фонарей — все было зыбко, странно и фантастично. Люди возникали из полумрака, подобно призракам, и вновь пропадали таинственно, покинув бледные круги, отброшенные мертвым светом электрических фонарей.

Друзья зашли в цветочный магазин и взяли букет из роз, приготовленный для Вениамина. Они вышли на улицу, слегка опьяненные влажным и дурманным запахом цветов, привезенных из Ниццы, томных, усталых от долгого пути... Николай и Вениамин прошли два бульвара, пересекли площадь, миновали собор и уже хотели по привычке идти на мост, как вдруг из тумана выросла какая-то дюжая фигура и загрозила им дорогу.

— Вам чего надо? — крикнул грубый голос, и кто-то осветил фонарем двух приятелей.

— Нам надо перейти через мост, мы идем к знакомым, — сказал Вениамин, пожимая плечами.

— Нельзя туда, — крикнул тот же голос насмешливо и сердито.

Теперь, при свете фонаря, приятели видели, что на мосту стоит отряд солдат и какой-то фургон.

— Почему же нельзя? — спросил нерешительно Николай.

В это время на лошади подъехал жандармский ротмистр.

— Это еще кто такие? — крикнул он низким придушенным голосом. — Кто такие? А?

— Будьте любезны, — сказал Вениамин, стараясь быть вежливым, — будьте любезны, прикажите пропустить нас через мост.

Вместо ответа ротмистр засмеялся и вышиб из рук Вениамина коробку с розами:

— Обыскать их!

Солдат с рыжими усами, лихо закрученными, взялся за шубу Вениамина, молвив:

— Раздевайся, барин.

После обыска, когда друзья надели свои холодные и влажные шубы, валявшиеся на снегу, жандарм сказал им, смеясь:

— Ну, проваливайтесь... Живо... Марш!

Они пошли вдоль набережной, прислушиваясь к солдатскому говору и смеху, звучавшим из мрака, в котором скрывался мост.

— Какая неприятная история, — сказал художник, вздрагивая при воспоминании о том, как солдатские руки обшаривали его.

— Мои розы! — вздохнул поэт, и ему представились нежно-алые лепестки, растоптанные на снегу.

— Мы, однако, попробуем перебраться на тот берег, — заметил Николай, — нас пропустят, вероятно, через Чугунный мост.

— Разумеется, — сказал Вениамин, чувствуя, что он не может не увидеть Маргариты и не прочесть ей новый сонет, ей посвященный.

Снег перестал идти, и среди перистых облаков медленно текла луна, почти полная, закутанная полупрозрачною пеленою. От ее холодного огня лучился неверный и таинственный свет, и при взгляде на черные тени, которые легли теперь по земле и стенам в разных местах, падало сердце, замирая жутко и сладостно.

— Как хорошо, — прошептал художник, улыбаясь, — гармония белого и черного. Как хорошо!

— Да, прекрасно, — согласился поэт. — Явно, что мы не одни сейчас: живые и мертвые, и, быть может, еще не рож-

денные во времени — все присутствуют сейчас незримо: я слышу голоса, взывающие и поющие о любви.

— Может быть, — прошептал художник, который не слышал незримого хора и тайно предпочитал молчание.

Еще не дойдя до Чугунного моста, друзья встретили отряд жандармов, которые ехали с обнаженными шашками, блестящими от луны.

Жандармы, заметив ночных пешеходов, прижали их к стене, наехав на них так, что лошади обдали им лица своим горячим дыханием и приятели почувствовали кисловатый запах лошадиного пота.

— Эй, вы! Куда прете? — гаркнул пьяный жандарм в шапке, съехавшей на затылок.

— Нам — на ту сторону, — сказал угрюмо Николай и попятился от лошади, которая нетерпеливо перебирала ногами...

— Проваливайте, пока целы, — крикнул жандарм, — да не очень разговаривайте, а то сейчас его благородие подьедет. Проваливайте.

— Пойдемте домой, — сказал Вениамин, чувствуя, что от ночных приключений у него подкашиваются ноги и он изнемогает.

— Пойдемте, пожалуй, — согласился художник.

И они поплелись к бульварам. Никого не было видно на улицах. И странными, и неожиданными казались две эти тени, заблудившиеся в лунном городе. Все дома, казалось, умерли. Нигде не было видно огня.

— Это что такое? — спросил Вениамин, прислушиваясь к глухим и тяжелым звукам, которые откуда-то доносились время от времени...

— Стреляют из пушек, кажется, — заметил Николай, стараясь не терять хладнокровия.

— В самом деле — пушки.

Приятели пошли дальше, невольно стараясь держаться ближе друг к другу. Они обрадовались, когда, пройдя последний переулок, увидели наконец бульвар.

— Вот мы и пришли. Почти дома, — заметил весело поэт, вглядываясь в сеть обнаженных веток, посеребренных инеем и луною.

— Да. Почти дома. Только что это там чернеет, однако?

— В самом деле. Что такое? Я понять не могу.

- По-моему, бульвар перегорожен чем-то.
- Черт возьми! Это баррикады!
- Баррикады...
- Охота людям заниматься этой ерундой!
- Почему бы им не жить мирно?
- Но нас-то они пропустят, надеюсь.
- Жандармы нас не пропустили, однако.
- То жандармы, а революционеры пропустят.
- Вы думаете?
- Попробуем.

Когда приятели подошли к бульвару вплотную, они увидели, что боковые проезды и самый бульвар перегорожены проволокой, решеткой, завален какими-то ящиками, мусором, камнями и снегом. За этою изгородью расхаживало человек двадцать пять, иные с ружьями.

— Кто идет? — раздался чей-то строгий голос и к приятелям подошел высокий чернобородый человек с браунингом в руке.

— Мы — художники.

— Что? — не понял чернобородый.

— Художники мы, — повторил Николай и, помолчав, прибавил: — Оружия у нас нет.

— Оружие найдется, — сказал высокий. — Товарищ Семен! Дайте им по браунингу.

— Не надо. Зачем? — спросил, недоумевая, Вениамин.

— А вы разве не наши? Так вы кто же, черт возьми?

— Ах, не все ли равно? — сказал Вениамин, чувствуя, что он смертельно устал. — Я сяду, пожалуй...

И он сел на опрокинутый ящик.

— Все ли равно или не все равно — это философия, а нам теперь некогда. Извольте взять браунинг и, если солдаты подойдут близко, палите в них. И вы тоже...

— А домой нам нельзя? — спросил Николай, недовольно хмурясь.

— Вот еще младенец какой! Что мы, для вас баррикаду будем разбирать, что ли?

— Нате вот, — сказал маленький человек в меховой куртке, на кривых ногах, которого высокий назвал товарищем Семеном.

И он дал Николаю и Вениамину по браунингу. Луна побледнела на небе и ее не было видно среди облачного пеп-

ла. Земля и небо были закутаны теперь в серый шелк. Наступили томительные предутренние часы.

Через несколько минут Вениамину и Николаю казалось уже, что они давно, чуть ли не целую неделю, сидят за баррикадой. Все вокруг было знакомо: и этот товарищ Семен на кривых ногах, который тянул коньяк из горлышка бутылки, и чернобородый дружинник, главарь, по-видимому, и молоденькая голубоглазая девушка с белою перевязью и красным крестом на ней; и каждая доска, живописно торчавшая в баррикаде, и этот красный флаг, водруженный наверху как знак вольности и мятежа...

Где-то затрещал барабан — сухо и четко.

— На места, товарищи, — крикнул чернобородый. И те, у кого были ружья, стали за баррикадой вплотную и приготовились стрелять.

Что-то трещало и дымилось около груды снега и камней, и как бы в ответ на этот треск и дым время от времени цокали то звонко, то тупо, ударяясь о баррикаду, солдатские пули.

— Что это с ним? — спросил Вениамин, заметив, что товарищ Семен как-то странно сползает на животе с баррикады.

Николай подошел к товарищу Семену и спросил:

— Что с вами? А?

Но товарищ Семен не отвечал.

Николай нагнулся над ним и заметил, что у него неподвижные глаза и губы.

— Как это странно все, — пробормотал художник и вдруг пошатнулся.

Он упал на колени и замотал головой, как будто бы его душил воротник.

Но этого уже не видел Вениамин. Поэт лежал на спине, раскинув руки. Правая нога его как-то неестественно дергалась. Над ним нагнулась голубоглазая девушка с белой перевязкою. А он, приняв ее за другую, шептал нежно: «Маргарита...»



I

Меня арестовали в мае. Весенние дни всегда волнуют меня, и весеннее солнце влияет на мою душу и мое тело, возбуждая силы, желания и мечты. Быть может, потому решился я тогда бежать из ненавистой тюрьмы.

В тот вечер, когда состоялся приказ о моем аресте, я был в театре с моей невестой, у которой я, конечно, часто бывал и которая оказывала содействие моим планам. После спектакля я привез ее в автомобиле, и она, подарив мне розу, вошла в подъезд, где швейцар, по-видимому, поджидал ее, несмотря на поздний час.

Какое-то странное предчувствие заставило меня оглянуться в ту минуту, когда автомобиль, рыча и стуча машиной, отъезжал от дома, где жила моя невеста. Я увидел жандармского ротмистра, солдат и понятых, которые, озираясь, как воры, входили в этот миг во двор дома. Я понял, я догадался тотчас же, что у моей невесты в эту ночь будет обыск.

Все это не было для нас неожиданным. Ужо три недели ходили за нами сыщики, ничуть не скрывая своих целей.

Какое странное, жуткое, острое и, пожалуй, веселое чувство испытываешь невольно, когда замечаешь вдруг негодяя, который идет за тобой, выслеживая тебя в надежде получить за твою свободу ничтожные деньги, не без явного презрения брошенные ему блюстителями старого порядка. Когда я в первый раз увидел сыщика, который смотрел на меня своими стеклянными пустыми глазами, я вдруг постиг как бы внезапным наитием, что на меня смотрит сама смерть. Я вдруг разгадал весь этот сложный путь по всем ступеням власти, путь, по которому следует неуклонно верная служанка ада, не раз воспетая поэтами, «безноса красавица, гремящая кастаньетами костей». «В сыщике, — думал я, — уже нет души. Он лишь мертвое орудие, автомат темной силы, покорный раб Великого Ничто».

Итак, автомобиль мчал меня по улицам города, и белая ночь, и стальной блеск нашей великолепной реки, и могучие колонны дивного собора, и случайный прохожий, рассеянно стучавший тростью — все в этот миг показалось мне пленительным и милым, и — признаюсь — сердце мое упало, когда я подумал, что через несколько минут я буду во власти чуждых и враждебных мне людей. Смущение швейцара, который распахнул передо мной дверь, подтвердило мои предположения, и я подымался по лестнице, уверенный, что в моей квартире незваные гости.

И в самом деле, едва я переступил порог, меня схватили за руки два дюжих солдата, и ротмистр подошел ко мне, звеня шпорами, и спросил преувеличенно громко, нет ли при мне оружия. Затем он показал мне официальную бумагу, согласно которой он должен был произвести обыск в моей квартире и арестовать меня, независимо от того, какие результаты даст обыск. Я заблаговременно, конечно, удалил из квартиры все компрометирующие меня документы, а также письма близких мне людей, дабы глаза посторонних бесстыдно не осквернили дорогих моему сердцу строк. Поэтому напрасны были попытки этих людей найти что-либо нужное представителям Власти.



Ротмистр предложил мне раздеться и я, не без внутреннего гнева, подчинился его требованию, сознавая прекрасно, что выражение негодования унижит мое достоинство, ибо внешняя сила была на стороне жандармов: сопротивление было бы бесполезно и лишь доставило бы им удовольствие, мстительное и гнусное.

Наконец, мне разрешили одеться и предложили подписать протокол. Меня вывели из квартиры в пять часов утра. Нас ожидала карета со спущенными шторами. По моим расчетам, мы ехали по городу не более часа. Когда карета остановилась и ротмистр отворил дверцу, я увидел каменное здание с решетками на окнах, напротив — чахлый сад за высокой оградой, часовых у крыльца и сизых голубей, которые, воркуя, постукивали лапками по железному карнизу. Было странно, что майское солнце светит улыбочиво и ласково, что воробьи прыгают по теплым пыльным камням, которыми вымощен двор, что мои знакомые проснутся в своих квартирах часа через три и будут заниматься чем угодно, а меня, без моего согласия, куда-то ведут солдаты и, вероятно, запрут в камере, повинуюсь какой-то силе, значение которой они сами вряд ли сознают.

Солдаты, стуча каблуками и бряцая ружьями, ввели меня в узкий полутемный коридор, душный и смрадный. Это была старая тюрьма. Я оступился и нечаянно коснулся стены. Мне показалось, что пальцы мои дотронулись до чего-то скользкого. Вероятно, это была плесень. Мысль о побеге ни на минуту не покидала меня. Поэтому внимание мое было напряжено чрезвычайно. Мы прошли пятьдесят шагов и на этом пространстве дважды повертывали за угол. Впереди шел надзиратель. При тусклом свете фонаря я не успел разглядеть его лицо. Я заметил только, что голова его тряслась и он прихрамывал на одну ногу.

— Здесь. Тринадцатый номер. Извольте войти, — сказал он хриплым неприятным голосом.

Тяжелая дверь с большим железным засовом полуоткрылась на миг и я очутятся в моей камере. Переступая порог, я обратил внимание на то, что стена, отделявшая мою камеру от коридора, была не очень толстой, в три кирпича,

не более. Этим наблюдением моим я остался доволен.

Когда дверь захлопнулась за мной, я тотчас же стал внимательно осматривать мою камеру, сознавая чрезвычайную важность всех, даже, на первый взгляд, ничтожных особенностей моего жилища. Длина камеры равна была четверем с половиной шагам. Ширина двум с половиной. В камере находилась постель, которая на день, очевидно, подымалась и пристегивалась ремнями к медным крюкам, вделанным в стену. Кроме того, в моем распоряжении был стол и стул.

Из окна можно было видеть высокую каменную ограду и за ней часть сада и угол какого-то трехэтажного дома, старомодного и ветхого. Стены камеры были выкрашены охрой. Но внутренняя стена, сложенная из кирпичей, не была покрашена. Кое-где видны были нацарапанные буквы и знаки, полустертые, очевидно, руками тюремщиков. В двери было сделано круглое небольшое оконце, предназначенное для того, чтобы дежурный часовой мог наблюдать за поведением узника. И в тот миг, когда я рассматривал довольно близко это круглое отверстие, чей-то глаз возник передо мной, и я невольно отступил от двери в бессильном негодовании, возмущаясь дерзким любопытством солдата.

II

Дни рождались и умирали, и жизнь моя текла размеренно, подчиняясь строгим правилам тюремного порядка. Рано утром раздавался скрежет железного засова и в камеру входил дежурный с кипятком и хлебом. В полдень вносили пищу. Я подал заявление о том, чтобы мне выдали чернила и бумагу, а пока удалось мне получить из тюремной библиотеки Новый Завет. Я не без волнения перечитывал теперь загадочные изречения вечной книги, полузабытые мной в повседневной суете.

Но, несмотря на видимую покорность моим тюремщикам, я был полон мятежной тревоги и страстной жажды

вновь увидеть мир и свободу. И я обдумывал план побега, и порой мне казалось, что он возможен. В иные же часы, прислушиваясь к шагам часового по коридору или вглядываясь пристально в крепкие полосы железа, из которого сделана была решетка на моем окне, я приходил в отчаяние, понимал, как мало надежды на бегство из заточения. Ежедневно на четверть часа выводили меня солдаты из камеры, дабы я совершил прогулку, предназначенную уставом. В небольшом дворике ходил я на глазах у часовых по кругу, вспоминая гениального Ван-Гога, который с дивной силой выразил весь ужас неволи — прогулку арестантов на тюремном дворе. Во время прогулки видел я небо, целый мир волшебных изменений, и это восхищало меня. Я видел также три окна соседнего дома, правда, отделенного от тюрьмы большой усадьбой, которую скрывал от меня высокий забор с гвоздями; я не терял, впрочем, надежды завязать впоследствии сношения с обитателями этого дома, потому что иногда мне удавалось наблюдать в одном из трех окон человеческую фигуру и, хотя трудно было на таком расстоянии разглядеть ее невооруженным глазом, я все-таки успел убедиться в том, что на меня смотрит из окна женщина, и в руке ее бинокль. Я смутно догадывался, что эта женщина, наблюдающая за мною, неслучайно появляется в окне. И я думал порой, что мой побег, быть может, совершится при помощи этой незнакомки.

Я тщательно изучил порядок тюремной жизни. Часовых меняли три раза в сутки. На коридор полагался один часовой. При входе стояло двое. Сколько часовых дежурило у ворот, мне не было известно. О том, что делалось на воле, я также ничего не знал. Был ли арестован кто-нибудь из моих товарищей? И если был арестован, то кто именно? Впрочем, мало было надежды на их помощь даже в том случае, если бы они все оставались на свободе: мог ли я отвлекать силы от Освободительного Движения? Имел ли я право рассчитывать на людей, которые были так нужны Революции? Иное дело помощь моей невесты, с которой нас связывали узы взаимного влечения и любви, более тесные и прочные, чем узы партийной солидарности. Но я не знал, чем кон-

чился обыск в ее квартире и арестована ли она. Наконец, я убедился в том, что она свободна: я получил от нее письмо с печатью прокурора. В этом письме были фразы, которые показались мне загадочными. «Я не совсем здорова, — писала она — и, быть может, мне придется полечить мои нервы. Пожалуйста, не бойся за меня. Я даже думаю, что это будет нам полезно».

«Что значит это “нам полезно”?» — думал я, недоумевая. Но как я ни ломал голову, мне не удалось раскрыть смысл этой фразы, пока новые обстоятельства не помогли мне разобраться в замыслах моей невесты.

Прошло две недели. Однажды (это было в первых числах июня) я обратил внимание на то, что в саду, который был виден мне из-за высокой ограды, расхаживают какие-то люди, а между тем, я до того времени ни разу не видел там гуляющих. Очевидно, что ясные, теплые дни заставили обитателей этого дома выйти, наконец, из четырех стен. Но то, как эти люди держали себя, удивило меня, и это не совсем обыкновенное поведение гулявших по саду вызвало в душе моей некоторые подозрения, которые впоследствии нашли себе подтверждение. Иные из этих обитателей таинственного дома проявляли беспричинное волнение, выражая жестами и криками свою тревогу; иные, напротив, поразили меня тупым, покорным и грустным видом. Один из этих непонятных людей забрался на старую липу и уселся там на суку в позе безнадежного уныния. Какая-то женщина размахивала руками, как будто уверенная в том, что это крылья и что сама она принадлежит к царству пернатых!.. Я догадался, что эти люди сумасшедшие и что моя тюрьма находится в непосредственном соседстве с домом умалишенных. Присутствие среди этих странных людей двух особ (мужчины в дамы), которые явно следили за поведением гулявших по саду, укрепило меня во мнении, что это лечебница для душевнобольных и что на моих глазах гуляют безумные и среди них представители врачебного персонала— психиатры или надзиратели.

Ежедневно около пяти часов пополудни я наблюдал из моего окна за душевнобольными. И вот на третий день слу-

чилось нечто, оказавшее решительное влияние на мою судьбу. Среди сумасшедших я увидел ту, которую считал самым близким мне человеком и с которой неразрывно было связано все самое значительное в моей жизни. Я увидел мою невесту. Я был в отчаянии и в ужасе, полагая, что мой арест и многие иные печальные обстоятельства расстроили ее нервы в такой мере, что ее пришлось заключить в психиатрическую лечебницу.

У меня дрожали руки и сердце стучало, как в лихорадке, когда я отошел от моего окна.

Но вдруг я вспомнил фразы ее письма, показавшиеся мне загадочными: «Я не совсем здорова, и, быть может, мне придется полечить мои нервы. Пожалуйста, не бойся за меня. Я даже думаю, что это будет нам полезно».

— Не находятся ли в какой-нибудь связи эти как будто предупреждающие фразы и это неожиданное появление ее в саду психиатрической лечебницы? — думал я.

После минутного размышления я опять подошел к окну и тотчас же мне бросилось в глаза то, что моя невеста вынула белый платок и сделала им несколько движений, которые можно было принять за случайные, но не без меньшего основания можно было также истолковать, как условный знак, предназначенный для меня. Я терялся в догадках. А между тем, больных увели из сада, и я должен был поневоле бездействовать и ждать своей участи, ничего не предпринимая. Впрочем, на всякий случай я с величайшей осторожностью совершал ежедневно одну подготовительную работу, не вполне безопасную. Дело в том, что, обыс-



кивая меня, жандармы проглядели все-таки один предмет, который мне теперь чрезвычайно пригодился. Это был маленький плоский перочинный ножик, провалившийся случайно из кармана жилета за подкладку. При помощи этого ножа мне удалось вынуть один кирпич, который приходился как раз против железной скобы засова. Я работал, конечно, лишь в те минуты, когда часовой выводил кого-нибудь из арестантов или уходил в противоположный конец коридора. Работа была не из легких, потому что приходилось прислушиваться к шагам солдата и прекращать ее немедленно. Но в конце концов мне удалось извлечь из стены один кирпич. Я вложил его на прежнее место, но в любое мгновение его можно было вынуть. По моим расчетам, пяти дней работы было достаточно для того, чтобы это первое внешнее препятствие было мной уничтожено — первое из целого ряда преград, которые мне были известны. А сколько неожиданных препятствий могло возникнуть на моем пути!

На другой день я получил от подружки моей невесты письмо, также просмотренное прокурором. На первый взгляд содержание его было безразлично, и я догадался, что необходимо тщательно изучить его, дабы узнать секрет, в нем заключенный. После долгих и упорных стараний я заметил, что росчерки некоторых букв были сделаны с едва заметным нажимом. Складывая эти отмеченные буквы в порядке их написания, я к моему огорчению, не получил никаких слов. И при обратном чтении также ничего не получалось. Я проклинал мою рассеянность, благодаря которой я не усвоил ключа, предложенного мне невестой и, очевидно, примененного теперь ее подружкой в письме ко мне. Наконец, я попробовал складывать не те буквы, которые были отмечены нажимом, а непосредственно за ними следующие. На этот раз мой опыт увенчался успехом, и я с восторгом прочел следующее: «Наблюдаю за вами во время прогулки из третьего окна соседнего дома. Надежда симулирует больную, чтобы изучить тюремные порядки. Готовьтесь к побегу».

Надеждой зовут мою невесту.

III

Я сделал два весьма важных наблюдения. Во-первых, я убедился в том, что часовые у тюремного крыльца не могли видеть гуляющих в саду психиатрической лечебницы. Видел их только я и те заключенные, которые сидели в камерах третьего этажа. Это было очень удобно для меня. Во-вторых, я заметил во время прогулки, что расстояние от тюремного крыльца до ворот не превышало двадцати шагов. К сожалению, у ворот стоял часовой.

Пользуясь разобранным мной шифром, я написал письмо подруге моей невесты. Из этого письма она могла узнать, что я готов бежать, если часовой у ворот будет подкуплен. Лишь безумная жажда свободы могла внушить мне этот план побега. Ведь если бы даже удалось выйти из камеры незамеченным, что стал бы я делать, когда часовые остановили бы меня у крыльца? Но я все-таки написал, что я готов к побегу.

Через неделю я получил ответ. Расшифровав письмо, я прочел следующее: «Надежда красным платком даст знак. Тогда пытайтесь бежать. Часовой у ворот подкуплен. На углу автомобиль».

Когда я прочел эти слова, со мной сделался странный нервный припадок. Мне трудно было дышать. И я испытывал непонятное ощущение в ногах, от стопы до бедра, ощущение какого-то раздражения, что-то щекочущее я волнующее. Нечто подобное, но в меньшей степени, испытывал я в детстве, летом, когда приходилось кончать затянувшийся урок, а за окном было солнце, пахло сеном и ждали товарищи, чтобы вместе играть. Несмотря на явную опасность, которая мне угрожала, я в иные мгновения смотрел на мой побег, как на игру. Дело в том, что я не мог поверить в серьезность моего ареста. Я понимал, я сознавал, разумеется, что жандармы не шутят, и в то же время я не верил, что человек может посягнуть на свободу другого человека. Я полагаю, что мое мнение не так наивно, как это может показаться на первый взгляд. Человек, предоставленный са-

мому себе, не может быть врагом свободы. Лишь Сатана и его слуги суть истинные тюремщики и палачи. А люди, защищающие тюрьму и казни, суть слепые орудия Темной Силы. Я так думаю.

Итак, я решился на побег.

В продолжение двенадцати дней я с волнением наблюдал за моей невестой, которая в пять часов неизменно появлялась в саду психиатрической лечебницы. Я видел, я чувствовал, как она волнуется и трепещет, но она медлила дать мне знак, и я проводил часы в жестоком томлении, мечтая о свободе со жгучею страстью.

Уже несколько дней появлялась моя невеста в алом платке, наброшенном на плечи. Очевидно, это был тот самый платок, которым она должна была махнуть, давая мне знак к побегу. И вот, на тринадцатый день произошло нечто неожиданное. Едва моя невеста появилась в саду, к ней подбежала больная женщина (я и ранее обращал внимание на ее маниакальное возбуждение) и сорвала алый платок с плеч моей невесты. Тщетно невеста моя пыталась вернуть платок. Больная упорствовала, прельщенная, должно быть, ярким его цветом. По-видимому, ее гнев становился опасным, и надзирательница вмешалась в этот спор, запрещая моей невесте требовать назад свой платок.

Нервное волнение лишило меня самообладания, мне свойственного. Я решил почему-то, что именно в этот день моя невеста должна была дать мне желанный знак.

Три кирпича, отделявшие меня от засова, давно уже были освобождены от цемента и вынуть их можно было в любую минуту. Я намеревался бежать в девять часов вечера. Приняв столь безумное решение, я перестал сомневаться в том, что именно этот день назначен для побега. Погода испортилась. Пошел дождь. Но это обстоятельство, конечно, не могло служить препятствием моему плану. Ровно в девять часов я подошел к оконцу в двери. Часовой, очевидно, был за углом нашего кривого коридора и его не было видно. Я выждал, однако, когда он вернулся обратно, потому что не знал точно, как далеко он отошел от угла. Два кирпича были мной уже вынуты из стены. В кармане у меня

лежал медный крюк, к которому прикреплялась кровать. Утром я вырвал его из стены. Теперь, по моим расчетам, часовой был на противоположном конце коридора. Тогда, не теряя ни одного мгновения, я извлек последний кирпич, просунул в отверстие руку и осторожно отодвинул засов без малейшего стука. Затем я приотворил тяжелую дверь ровно настолько, насколько было нужно, чтобы проскользнуть в нее, и очутился в коридоре. Я вложил внешний кирпич на прежнее место и запер камеру. Надо было спешить, потому что через несколько секунд часовой должен был подойти к камере. В семи шагах от моей двери находилась довольно глубокая ниша. Я рассчитывал скрыться в ней и выждать в ней благоприятного для побега момента. Мимо ниши часовой обыкновенно не ходил, потому что в этой части коридора стены были сплошные, без дверей. Моя камера была последней. Расчет мой был верен в этом отношении, но я упустил из виду еще одну возможность, которая едва не стала для меня фатальной. Часовой, подойдя к моей камере, заглянул в оконце. Я наблюдал за ним из моей засады. Когда он приник глазом к круглому отверстию, я затаил дыхание и холод ужаса обжег мне спину. К моему крайнему изумлению, солдат спокойно отошел от моей двери и направился, не спеша, по коридору. Я до сих пор не могу разгадать этой психологической загадки. Очевидно, запертая дверь и тишина в коридоре так не вязались в его представлении с побегом, что он буквально не поверил своим глазам. Благодаря этой психологической иллюзии, случайно обманувшей солдата, я был спасен на этот раз. Но, увы! — мне предстояли еще новые опасности.

У меня был такой план. Выйти на крыльцо, где стояло обыкновенно два часовых, и спокойно идти по направлению к дворику для обычных прогулок. Часовые, думал я, меня окликнут, конечно, а я сделаю жест, что меня, мол, провожает дежурный. Тем временем я успею сделать еще три-четыре шага и до ворот останется мне бежать семь шагов, не более. У ворот часовой подкуплен, а за углом автомобиль.

Но теперь, стоя в нише, я вдруг заметил дождевой форменный плащ надзирателя и фуражку, которые висели на гвозде. В один миг я надел фуражку и плащ и поднял капюшон. Таким образом, план мой неожиданно изменился. Шел проливной дождь. «Часовым не придет в голову заглядывать мне под капюшон», — подумал я, улыбаясь и торжествуя. И в самом деле, когда я спокойно вышел на крыльцо и направился неторопливо к воротам, часовые стояли в прежних унылых позах, не шевелясь.



Я был уже у ворот, когда перед самым моим лицом возникла знакомая мне фигура хромого надзирателя, который

впервые ввел меня в мою камеру. Я плохо рассмотрел тогда его лицо и запомнил лишь его прихрамывающую походку и трясущуюся голову. Теперь на меня в упор смотрели его изумленные оловянные глаза. Брови его были подняты, рот полуоткрыт. Он увидел на мне свой плащ и его костлявые руки потянулись ко мне, чтобы сорвать с меня этот плащ. Очевидно, он понял, в чем дело. Нельзя было медлить и колебаться. Инстинктивно я сжал рукой в кармане медный крюк, но тотчас же какой-то голос шепнул мне, что я могу освободиться, не проливая крови. И тогда я, повинуясь этому голосу, выпустил из правой руки крюк, а ребром левой ладони наотмашь ударил старика по шее. Он упал на землю, но успел, однако крикнуть:

— Держи его! Держи!

Я бросился в ворота, но, к моему ужасу, наперерез мне бежал солдат с ружьем. Этот солдат однажды водил меня на прогулку, и я случайно узнал, что его зовут Николаем. Сам не знаю, почему, я крикнул ему вдруг:

— Николай! Это я! Это я!..

Он остановился на мгновение, недоумевая. Это спасло меня. Я сбил его с ног и вырвал у него ружье. Выбежав из ворот с ружьем, я наткнулся на постового городского, который бежал к тюремным воротам, услышав, очевидно, крик надзирателя. Но мой форменный плащ, фуражка и ружье сбили его с толку. Я крикнул ему:

— Туда! Туда!

И мы вместе с ним бросились по переулку вслед воображаемому беглецу. Мы не успели пробежать и сорока шагов, как я услышал крики позади нас и гулкий выстрел. Тогда я, заметив большую усадьбу дровяного склада, жестами объяснил городскому, что надо ловить мнимого беглеца с двух сторон. Городовой, слепо мне повинуясь, помчался налево, а я устремился в глубину двора, где, по счастью, никого не было. Я забежал за кучу дров и, заметив колодец, швырнул туда плащ, форменную фуражку и ружье. В кармане у меня была свернутая мягкая шляпа, но я не успел ее надеть, и снова побежал — на этот раз не в ворота, а к забору и, мгновенно перескочив через него, очутился на



крутом берегу реки. Только тогда я вспомнил об автомобиле. Где же он? На углу автомобиля не было. Очевидно, этот день вовсе не предназначался для побега. Меня охватил ужас и колени мои задрожали. Тогда я стал спускаться к реке, скользя по глине. Дождя уже не было. Вечерняя заря охватила полнеба дивным пламенем. Было тихо и безлюдно. И приятный запах влаги мне, только что сидевшему в смрадной тюрьме, показался тогда благоуханием пьяного вина. Голова моя закружилась. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я бросился в воду и поплыл на тот берег. Я плыл прямо на барку с дровами. В первый раз в жизни я плыл в одежде. Мне казалось, что несколько рук тянут меня ко дну. Я плыл так минут пятнадцать. Никто меня не преследовал. Наконец, изнемогая от усталости, я влез на барку с дровами. На ней спал какой-то рыжий человек с всклокоченной бородой. Стараясь не разбудить его, я пробрался на другой конец барки, спустился в трюм и лег там. Тогда странное изнеможение овладело мной и я заснул. Я проспал там двадцать шесть часов, как это выяснилось впоследствии. Когда я очнулся, была белая волшебная ночь. Я осторожно выбрался на палубу и, убедившись, что сторож пьян и спит, сошел на берег и направился в знакомое мне безопасное убежище. Через восемь дней я был в Париже. Я ждал мою невесту. Но она не приезжала. И вот однажды, когда я, утомленный и взволнованный, ходил по комнате отеля, как зверь в клетке, тоскуя и недоумевая, кто-то постучал ко мне и вошел мой друг. Он приехал из России.

Я бросился к нему, я жадно схватил его за руку и заглянул ему в глаза в надежде, что он скажет мне о судьбе той, которая была мне дороже свободы и жизни. Но он смущенно молчал, и я видел, как побледнел он, и почувствовал, как задрожала его рука в моей руке.

— Твоя невеста! Видишь ли, мой друг, она не совсем здорова... Она в больнице, она...

— Ты обманываешь меня. — прошептал я. — Она умерла? Да?

— Нет, нет, уверяю тебя, она жива. Но я должен сообщить тебе в самом деле нечто печальное. Она не совсем

здорова душевно. Она в психиатрической лечебнице, что рядом с тюрьмой, где ты был заключен.

— Ведь она сознательно решила проникнуть туда, чтобы содействовать побегу, — проговорил я, смущаясь.

— Но ты не дождался условного знака... Автомобиля не было... И вот она слышала крики и выстрел. Она решила, что ты погибнешь, что тебя убьют... У нее были слишком напряжены нервы. У нее не хватило душевных сил, и она...

— Сошла с ума, — пробормотал я, чувствуя, что пол уходит из-под моих ног.

Я упал в обморок. Когда я очнулся, у меня явилось твердое намерение увидеть ее здесь, в Париже. Через две недели ее привезли ко мне.

Но — увы! — она, с которой было связано самое значительное в моей жизни, не узнает меня теперь. Она считает меня своим братом, давно умершим, и беседует со мной, как с ним, вспоминая своего мертвого жениха. И я не могу ее убедить, что я не брат ее, а жених, верный и живой.

Мы подолгу сидим с ней то в садике St-Germain-des-Prés, то слушаем орган в церкви St.-Sulpice, то едем на парходике в St.-Cloud; я держу ее за руку, я говорю ей о любви моей; мы свободны в этой свободной стране, но она, моя невеста, не верит в этот мир, в меня. Она живет в странном полусне, близкая и бесконечно далекая от меня. Я проклиная мой побег, мою свободу, и жить мне мучительно и страшно.

А она смотрит на меня светлыми непонимающими глазами и говорит мне тихо:

— Брат мой! Милый брат мой...

ФАМАРЬ

I

Когда Нил вошел в берега и тысячи рабов двинулись на утучненные поля; когда высоко стало в небе летнее солнце, похожее на алый полуоткрытый рот женщины или на пламенный цветок, который прикалывает к груди своей жена фараона в ночь Изида Незримой; когда южный ветер принес в страну Египетскую благоухания Ливана, патриарх Гадораам сказал жене своей Реуме:

— Пора, жена моя возлюбленная, вернуться нам в родную страну, ибо так говорит мне Господь.

И вот пошел на юг патриарх и жена его, и потекли за патриархом рабы его, и рабыни, и наложницы, и несметные стада, и повозки с утварью, с шатрами и с дарами фараона египетского.

Так совершал переходы патриарх от Египта до Вефиля, уверенный, что приведет его Бог пустынею к тому месту, где некогда был разбит шатер и воздвигнут жертвенник Господу у дубравы Мамрэ, что в Хевроне.

Был молод тогда Гадораам: всего лишь восемьдесят шесть лет ходил он перед лицом истинного Бога. И был Гадораам прекрасен, как лев, который выходит из логовища в пустыню и ждет среди золотых песков своей судьбы. И был он силен и храбр. И боялся одного Бога, потому что был мудр.

Жена Гадораама, Реума, была красива, как лань или серна. Глаза ее были прозрачные, как ключевая вода, и в них Гадораам видел иногда свое отражение, и оно казалось ему тогда прекраснее, чем он сам. Гадораам любил также целовать черные кудри Реумы и ее груди, которые благоухали, как нарד, и ее ноги, умащенные миррою и елеем.

Так долгие часы проводил он в шатре своем, и вместе с ним была прекрасная Реума. Но детей у них не было. И это печалило их.

Иногда Гадораам садился на осла и отъезжал от шатров

и смотрел издали на свои богатства. Верблюды казались тогда горбатыми холмами, а стада овец и коз были похожи на густой кустарник, колеблемый ветром.

Гадораам делал знак рукою. И тотчас рабы складывали шатры, снаряжали повозки и гнали стада.

Тонконогие овцы с влажными мордами, с длинною, запыленною шерстью бежали впереди каравана, оглашая воплями пустынную даль. Верблюды, как умудренные жизнью старики, лениво шагали, мотая головой. Черные рабы, хлопая длинными бичами, распевали гортанно унылые песни. Наложницы, полуодетые, изнывали от жары в закрытых повозках...

Гадораам смотрел на свой караван и думал:

«На что мне мои богатства, когда нет у меня потомства? Если я встречу на пути моем царя или купца, они посмеются надо мною. Они скажут: “Бог не благословил тебя, Гадораам, и ты, как евнух, обречен на бесплодие”».

И тосковал Гадораам, и утешался мечтами. Ему мерещилась Реума беременной, с крутым полным животом. Он представлял себе ее радость. Он уже видел Реуму рождающей, слышал ее крики от здоровой материнской боли — крики, такие приятные для его слуха.

Тогда Гадораам молил Бога даровать ему потомство. Он останавливал караван, располагался лагерем. Трое суток, по слову патриарха, воздвигали рабы жертвенник. И огромное сооружение высилось среди пустыни, как каменный знак, обращенный к Богу. Гадораам подымался по ступеням жертвенника, и рабы подавали ему на длинных пиках животных, обреченных на жертву, и патриарх сам совершал всеожжение, не жалея тука откормленных тельцов и овнов. Дым, черный и жирный, вздымался столбом над пустыней. И ангелы принимали в золотые чаши благоуханную жертву и приносили ее Неизреченному.

Потом Гадораам шел в шатер и обнимал там Реуму и возлежал с нею на ложе. И в это время тишина была в лагере. Все рабы и наложницы лежали распростертые недвижно, умоляя своих богов даровать Реуме зачатие.

Но Реума оставалась неплодной.

Была у Реумы рабыня по имени Фамарь, египтянка. На родине служила Фамарь в храме Бубасты, помогая жрицам совершать курения пред божественным ликом Девоподобной Кошки.

И теперь молилась Фамарь богине своей, когда ночью луна восходила над великой пустыней. Фамарь удалялась от шатров и подолгу стояла прямая, как тростинка, с глазами, широко открытыми, с руками, поднятыми кверху.

Непохожа была Фамарь на Реуму, но не менее ее была прекрасна. Волосы у Фамари были подобны золоту офирскому, глаза — светильникам в храме Озириса, губы — пурпуру спелого граната... И было ей тогда двенадцать лет.

И вот сказала Реума Гадорааму:

— Господь не хочет даровать мне потомство. Войди, Гадораам, к служанке моей, Фамари. Она молода и прекрасна. Пусть она зачнет и родит мальчика. И мы усыновим его.

Тогда Гадораам сказал:

— Пусть она придет ко мне в шатер.

И вот Реума приготовила ложе, сожгла благовонные травы и привела Фамарь в шатер к Гадорааму. И девственность стала перед патриархом.

Тогда Реума сняла одежды с Фамари и сказала Гадорааму:

— Эта египтянка похожа на лилию. Посмотри, какая нежная у нее кожа. И какие стройные у нее ноги: они широки в бедрах и совсем маленькие у ступни. А какие глаза у Фамари — как драгоценные и волшебные камни горят они. А какие у нее губы — их еще никто не целовал, но они благоухают. И сладостно будет целовать их, потому что всегда они шепчут молитвы. Войди, Гадораам, к египтянке, и зачнет она сына.

Когда Фамарь услышала такие речи, она сказала:

— Нет, господин, не касайся меня, потому что не хочу зачатия. Я хочу остаться девственницей. И объятия твои, Гадораам, будут для меня как знак смерти. Хочу ночью в

пустыне смотреть на луну, единую, которую я люблю. А мужчины ненавистны мне, как ядовиты змеи, и уста их горьки для меня, как полынь.

Но Гадорааму понравилась Фамарь, и он подумал: «Пусть не хочет она меня. Тем сладостнее будет для сердца моего войти к ней. И тогда наверное от семени моего родится у нее сын».

Тогда Реума угадала то, что было на сердце Гадораама, и вышла из шатра.

И заплакала Фамарь горько. И скрылась в углу шатра. Но Гадораам взял ее за руку и привел на ложе. И долго любовался ею. И целовал ее губы и девственные ноги ее. И потом вошел к ней.

III

С тех пор, как Фамарь стала беременной, она не знала радости и громко рыдала. И все удивлялись ей и говорили:

— Вот Господь благословил ее счастьем, а она, как безумная, жаждет бесплодия.

И тогда Фамарь стала перед шатром Гадораама и прокляла патриарха и жену его Реуму. И долго она стояла так на камне, с распущенными волосами, и громко вопила.

Тогда Реума сказала Гадорааму:

— Бросим в пустыне египтянку. Она недостойна быть матерью твоего сына.

И вот двинулся караван прочь от этого места. Одна осталась Фамарь в пустыне: только несколько овец паслось около нее.

Все тише и тише щелкали бичи; уже едва слышны были песни рабов; уже нельзя было отличить рев верблюдов от блеянья овец; тогда перестала стенать египтянка и обратила лицо свое к небу, ожидая луны.

И наступила ночь. И пустыня встретила ее молчанием.

Потом был день и опять ночь, — и так текло время, как волны вечной реки. И томилась Фамарь, не зная будущего.

Наконец, родился у нее сын — Измаил. Он был похож на Гадораама. И быстро мужал он и бродил со стадом своим по пустыне, как маленький пастух, и уже научился щелкать бичом.

Фамарь любила его и боялась, и хотелось ей умереть, чтобы не видеть Измаила взрослым, когда станет он, как его отец, Гадораам.

И молилась Фамарь богине, чтоб она даровала ей смерть.

Но смерть не приходила, а Измаил с каждым годом становился мужественнее и прекраснее. И вот уже исполнилось ему тринадцать лет, а матери его Фамари было в то время двадцать шесть.

И стала замечать Фамарь, что волнуют отрока желания, что он смущается наготой своей и слишком пристально смотрит на ее тело, когда она купается при нем в источнике.

И однажды спросил Измаил у матери своей:

— Скажи мне, матушка, почему рождаются овцы и козы и другие животные и почему размножаются люди, которые, как ты говоришь, живут где-то за пределами пустыни?

Тогда Фамарь сказала:

— Люди размножаются от нехорошей любви. Смотри на небо ночью, сын мой, и ты узнаешь чистую и прекрасную любовь, и ты не пожелаешь потомства.

— Но ведь и ты родила меня, — возразил Измаил. — Зачем же ты любила дурно, когда ты знаешь прекраснейшую звездную любовь...

— Это твой отец, Гадораам, насильно овладел мной.

— А что это значит «овладел»?

— Он обнимал и целовал меня, сын мой.

— Но ведь и мы целуемся с тобой — почему же не рождаешь ты теперь?

— Не надо... Не надо, сын мой, думать об этом...

И опечалился Измаил. Наступила ночь. Он лежал на песке и смотрел на луну и думал о матери своей Фамари...

И Фамарь лежала в шатре и думала об Измаиле. Она знала, что он не спит, и это волновало ее. Потом она позвала его к себе. И он пришел и прижался отроческими губами к

ее ногам. И так долго лежал, изнемогая...

И с тех пор он ходил за матерью своей Фамарью, как замороженный, и шептал тихо:

— Люблю... люблю... люблю...

IV

Так переходила Фамарь от места до места в пустыне, — и пришла однажды и остановилась у источника на дороге в Суру.

Тогда явился ей некто.

И она спросила:

— Кто ты? Не вестник ли богини Бубасты?

— Нет, — сказал он, — я вестник иного бога.

И потом сказал ей вестник:

— Вот живешь ты одна в пустыне. И нет у тебя мужа. Но худо будет жене, у которой нет потомства. Поэтому говорю тебе. Пусть войдет к матери своей отрок Измаил. И умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества.

И сказала Фамарь мужу, который говорил с ней:

— О, неизвестный, увидевший меня в пустыне и посетивший! Да минует меня участь материнства. Дай умереть мне.

Но он сказал:

— Нет, нет, Фамарь. Я — начало Живого и Рождающего.

Поэтому и называется источник, у которого явился Фамари Вестник, Беэр-лахай-рой, что значит «Источник Живого, видящего меня».

И пошла Фамарь к Измаилу, и в печали отдалась ему и зачала. И когда родилась у нее дочь, по имени Дебора, удалась Фамарь от шатра, оставив ребенка сыну своему Измаилу.

И долго стояла Фамарь в пустыне, и смотрела на далекую луну и молила богиню о смерти.

И богиня сжалилась над ней, и даровала ей смерть.

ДЕМОН АСМОДЕЙ

I

В Экбатанах Мидийских жил некогда купец Асаф. И была у него жена Зехора, и много было наложниц в доме его. Рабы и рабыни толпились в покоях Асафа, как у знатного вельможи. Соседи говорили про Асафа:

— Он богат, как Енемессар, царь Ассирийский.

И радовался Асаф своему богатству. Когда он, одетый в белый эфод и пурпурные ткани, привезенные из Финикии, выходил с серебряным посохом в руках на городскую площадь, все указывали на него и говорили:

— Вот идет счастливый Асаф, которого возлюбил Господь.

И все стали звать Асафа Иедидиа, что значит «возлюбленный Богом».

Но не именем своим, не виноградниками, не стадами, не драгоценностями из Офира и не тканями из Ниневии гордился Асаф, а дочерью своего Маахой, которая была прекраснее всех богатств земных. И не было девушки равной ей по красоте.

Если взять семя махровой розы и положить его в землю, смешанную с пеплом сердца ласточки и увлажненную слезами невинной отроковицы, вырастет прекрасный цветок, имя которому Эрдуил. Как лепестки Эрдуила были губы Маахи.

Если бросить в очаг камень гиацинт, прошептав над ним заклятия мага Сеннахирима, вспыхнет пламя небесное, чарующее сердце. Такой свет был в очах Маахи.

Если идти на север три тысячи дней, то увидишь на берегу моря гору Елфалет. И на вершине той горы лежит камень белый. И нет ничего прекраснее и нежнее белизны его. Так нежно и прекрасно было тело Маахи.

И поступь Маахи была как пляска. И голос ее — как звон

гуслей. И дети любили Мааху, потому что мудра и невинна была она...

II

Был у купца Асафа сосед, по имени Вениамин. Он был беден, молод и благочестив. Рабов у него не было и он сам трудился в поле и в саду. И когда Мааха шла купаться, Вениамин смотрел на нее и думал: «Почему я не богат, как Енемессар, царь Ассирийский? Я бы мог посвататься тогда, и, быть может, Асаф выдал бы за меня Мааху. Правда, у меня есть богатый дядя Неффалим и он обещал оставить мне наследство, но, прежде чем он умрет, Мааха выйдет замуж за другого. Увы! Увы, мне несчастному».

Любовная печаль омрачила сердце Вениамина. Он перестал работать в саду и в поле. Бродил по рынку в жестокой тоске. Не развлекали его звуки систр и тимпанов, не радовали пляски наруганных женщин, не пьянило вино, которое он пил с друзьями.

Ночью он шел на городскую стену и стоял там до зари, как черный призрак, тоскуя.

А в доме Асафа готовили свадьбу. Мааху выдавали замуж за богатого купца Гаврия. И когда весть о свадьбе дошла до Вениамина, упал он на камни. И все думали, что умер он: так побледнело лицо его.

А когда он очнулся, друзья сказали ему:

— За чертою города живет волшебница Деввора. Пойди с ней. Она исцелит тебя от любовной печали.

И, хотя благочестив был Вениамин, но не мог одолеть соблазна, и пошел к Девворе и молил ее о помощи.

И сказала Деввора:

— Я знаю, что умрет дядя твой Неффалим, и ты будешь богат. Тогда Асаф выдаст за тебя Мааху.

— Ах, нет. Горе мне, — сказал Вениамин, — не хочу я наследства, потому что на днях выходит замуж Мааха. И жених ее Гаврий пирует уже в доме Асафа.

— Хорошо. Я помогу тебе, — сказала Деввора, — я вызову демона Асмодея из верхних стран Египта, и умертвит он Гаврия, прежде чем соединится Гаврий с прекрасной Маахой.

И пал на колени простодушный Вениамин, и благодарил хитроумную Деввору.

III

Когда гости в доме Асафа упились вином и рабы повлекли их, как мертвецов, из покоев, где пир был брачный, Зехора, жена Асафа, взяла за руку дочь свою и повела к брачному ложу. А сам Асаф благословил Гаврия. И жених пошел к невесте, и голова кружилась его от вина и страсти.

Вот остались, наконец, одни — Мааха и Гаврий. И хотя нравился Маахе Гаврий, но страшно было ей, что коснется он сейчас тяжелыми руками ее тела.

Тихо в тоске заплакала Мааха. А Гаврий уже сбросил хитон и простирал к ней жадные руки, вожделея.

Тогда вошел в брачные покои демон Асмодей и, покорный воле Девворы волшебницы, задушил незримыми руками Гаврия.

И пал Гаврий у брачного ложа, не утолив страсти. С ужасом смотрела Мааха, как предсмертные судороги корчили безобразное тело.

И хотел уже демон покинуть покои Маахи, как вдруг увидел пламя ее глаз и розы ее губ, и адская страсть загорелась в его сердце. И остался Асмодей у ложа Маахи, как жених ада.

Властью своею замкнул Асмодей уста Маахи. И дьявольскими губами прижался к ее девственным ногам, и, не ведая, что с нею, пала Мааха на ложе в сладостных муках.

Утром нашли тело Гаврия. В смущении горевали. Вдова-девственница в трауре, с пеплом на голове прошла по городу, стенам.

IV

Каждую ночь приходил демон Асмодей к Маахе. И незримые ласки его были ужасны. И лицо Маахи изменилось: казалось, что губы ее в крови, а в глазах горит темный огонь.

И боялся за жребий ее отец Асаф и мать Зехора. И стали просить ее выйти замуж, не понимая, что творится с нею, и жалея ее.

В это время умер Неффалим и оставил племяннику своему Вениамину богатое наследство. Пришел Вениамин к Асафу и молил отдать ему Мааху.

И вот снова назначен был брачный пир, и увенчанные цветами сидели гости вокруг печальной Маахи. Отроки пели песни о любви брачной. Тук тельцов и баранов, хмель вина, благоухание мирры и цветов — все туманило головы. Но не пьянил земной пир Маахи, ибо извела она иные чары, жестокие и сладкие, пред которыми бледнеют человеческие радости.

Наконец, счастливый Вениамин повел невесту в брачные покои. Спешил снять одежды с желанного тела. Но вдруг открылись глаза его и увидел он демона Асмодее, и ужаснулся.

А демон отстранил его от Маахи и не позволил ему коснуться ее.

Тогда закричал Вениамин:

— Я вижу тебя, демон Асмодей. Зачем ты преграждаешь мне путь к невесте моей? Ты ошибся: я не Гаврий. Соперник мой умер. Нет, я — Вениамин благочестивый.

Засмеялся Асмодей и сказал:

— Что ты дашь прекраснейшей Маахе? Твою глупую земную любовь? Но она извела иную любовь, о которой не смеешь ты мыслить. Или, может быть, ты хочешь спасти ее душу? Но зачем ей вечный покой райских кущ, когда предназначены ей блаженные муки моего ада?

И опять засмеялся Асмодей, и опрокинул на землю благочестивого жениха. И растоптал его.

ХРИСТОФОР

Христофор был великан. На земле не было человека, равного ему по силе. Однажды во время бури ехал он на судне. С большим трудом приблизилось оно к гавани, но ветер гнал корабль в открытое море, и тщетно гребцы старались его направить, куда следует. Тогда Христофор бросился в море и, плывя, повлек корабль на канате. Так он спас судно.

У этого великана и силача было сердце необыкновенной чистоты, хотя он еще не знал тогда истинной веры и бродил, как слепой, во тьме язычества. Чувствуя, что сила его безмерна, Христофор недоумевал, как ему жить. Ему не хотелось, чтобы такая сила пропадала напрасно, а между тем, будучи очень скромным, он сам не решался применить ее к чему-нибудь. Наконец, он после долгих размышлений придумал то, что казалось ему наилучшим в его затруднительном положении.

«Надо послужить, — решил он, — господину, сильнее которого нет никого на земле. Только самый доблестный, самый благородный и самый могущественный достоин воспользоваться услугами такого великана, как я».

Прослышав об одном могущественном царе, который будто бы никого не боялся, Христофор тотчас же отправился в путь, что бы предложить ему себя в качестве слуги. Насколько мне известно, ни блаженный Иаков из Ваража, ни другие, свидетельствовавшие о Христофоре, не называют этого царя по имени. Известно только, что царь этот охотно принял к себе на службу Христофора. Он отвел ему помещение во дворце и давал ему чрезвычайные поручения, а Христофор всегда успешно исполнял их и был рад, что нашел себе достойного господина. Следует обратить внимание на то, что царь этот был уже крещен и верил в Господа нашего Иисуса Христа.

Но вот что случилось однажды.

Странствующий жонглер пришел к царю и предложил ему позабавить придворных разными занятными действиями, а также пением веселых песен. Царь согласился допустить такое представление у себя во дворце, и оно состоялось. Но жонглер, распевая песни, упоминал в них неоднократно о демоне, не подозревая, что это может омрачить и разгневать царя.

Мудрый царь, не желая, однако, смущать собрание, в коем многие еще не были просвещены светом Христовым, не прерывал певца, а старался только незаметно творить крестное знамение каждый раз, когда жонглер произносил нечистое имя.

Но Христофор заметил, что царь делает какие-то знаки и спросил его, что означают эти непонятные для него движения руки.

Царь сказал Христофору:

— Демон или дьявол может причинить зло человеку. Я творю знамение, чтобы защитить себя от нечистой силы.

Христофор сказал:

— Разве дьявол сильнее тебе?

— Разумеется, сильнее, — ответил царь, не подозревая, что Христофор уйдет от него после такого признания.

Но Христофор покинул царя, потому что считал для себя унижительным служить не самому сильному и могущественному.

Христофор решил отыскать дьявола и ему послужить. Ему не пришлось долго его искать. Однажды в лунную ночь, когда Христофор шел по пустыне, он увидел отряд черных всадников, закованных в латы, и вождя их, с крылатым шлемом на голове. У всех всадников были спущены забрала и у вождя тоже.

Черный вождь с крылатым шлемом остановил Христофора и спросил его, куда он идет.

— Я ищу сильнейшего, — сказал Христофор. — Я служил самому могущественному царю, но этот царь, оказывается, боится дьявола. Так вот я теперь ищу самого дьявола, чтобы ему послужить.

— Дьявол — это я, — сказал черный всадник в пернатом шлеме. — Я не откажусь от твоей службы.

— Хорошо, — ответил бесхитростный Христофор. — Я очень рад, что я тебя так скоро нашел, Дьявол. Я послужу тебе, но покажи мне твое лицо. У тебя спущено забрало, а я бы хотел знать, какое лицо у моего хозяина.

— Это уж нехорошее любопытство — засмеялся Дьявол. — Впрочем, я могу сказать тебе прямо: у меня нет лица.

Христофор удивился, что у того, кто сильнее всех, нет вовсе лица, но все-таки продолжал путь, размышляя. В это время они проезжали мимо креста, на котором распят был мятежный раб. И Христофор заметил, как черные всадники и безликий вождь их далеко объехали крест, как будто страшась его.

— На кресте был распят Галилеянин Иисус, — сказал Дьявол. — Он был сильнее меня. И мне неприятно поэтому смотреть на крест. Но Иисус умер, а я вот, видишь, жив. И ты можешь служить мне, потому что отныне я самый сильный на земле.

Но у Христофора явилось сомнение, не обманывает ли его Дьявол и не жив ли Галилеянин, который сильнее его.

Поэтому Христофор покинул черного всадника и стал искать Иисуса.

Однажды Христофор встретил в пустыне отшельника, которому признался в намерении своем послужить Иисусу. Пустынник сказал:

— Прежде, чем послужить ему, ты должен совершить некий подвиг, чтобы удостоиться встречи с Ним. Ты знаешь, в десяти стадиях отсюда есть бурный поток, и трудно переходить его вброд. Ты поселись на берегу и переноси на своих плечах путников. Ты такой большой, что вода будет тебе не выше пояса.

У Христофора было простое и решительное сердце. Поэтому он сказал:

— Я согласен.

Итак, Христофор поселился на берегу потока. Для другого это была бы нелегкая жизнь, но он не боялся трудов, лишений и непогоды. Он так был нанят мыслями о возмож-

ной встрече с Иисусом, что ничто внешнее не смущало его сердца. Однажды он перенес на своих руках сто прокаженных и ему даже в голову не пришло, что он может заразиться и погибнуть. Переносил он на своих сильных руках и дряхлых стариков, которые сердито ворчали при этом, — и малых детей, которые теребили его за бороду, смеясь, — и женщин, которые жеманничали, а иногда капризничали и тайно всегда удивлялись равнодушию Христофора к их прелестям.

Впрочем, одна куртизанка из Александрии отвлекла на час мысли Христофора от желанной встречи. Эта куртизанка — ее звали Ириною — была весьма красива. У нее были длинные волосы, похожие на червонное золото, и глаза зеленые, как южное море, а стройное тело ее было такое нежное, что Христофор со страхом взял ее на руки. Когда она обхватила его красную шею своими белыми, как лилии, руками и прижалась своею юной грудью к его широкой груди, мохнатой, как у сатира, Христофор почувствовал, что он ступает не совсем твердо и что у него является желание поднять эту Ирину выше, до плеч, и прижаться губами к ее горячим ногам. Но головокружение недолго длилось. А когда куртизанка спросила его, шутя, не находит ли он, что она сейчас похожа на Европу, которая, как известно, переплыла море на не совсем обыкновенном быке, и когда она предложила ему осушить ее ноги в его шалаше, на постели, Христофор угрюмо покачал головою и пригрозил, что бросит ее в поток, если она не перестанет болтать.

Так трудился Христофор.

Однажды в глухую, темную и бурную ночь, когда Христофор спал у себя в шалаше, ему почудилось, что какой-то отрок зовет его. Христофор тотчас же встал и в самом деле увидел на пороге мальчика, который просил перенести его на другой берег.

Христофор дивился, что в такую непогоду мальчик собирается совершить трудный путь, но не стал его расспрашивать, откуда он и куда идет. Он взял мальчика и посадил к себе на плечо.

«Должно быть, я худо спал или болен», — подумал Христофор, когда почувствовал, что ему тяжело нести мальчика.

Однако он побрел через поток. В это время бушевала такая дикая и злая буря, что волны хлестали прямо в лицо Христофору. И небо было совсем черное, и вовсе не видно было берега. Христофор ничего не боялся и шел вперед, хотя ему казалось, что на плече у него не мальчик, а целый храм с сотнями мраморных колонн: такую странную тяжесть он чувствовал, напрягая последние силы.

На середине потока он вдруг изнемог и едва не уронил отрока, но мысль о том, что он должен довести до конца свой подвиг, дабы увидеть Иисуса, заставила его идти дальше.

Наконец он достиг берега и, спустив на землю мальчика, сказал, смеясь:

— Ну и тяжелый ты, однако, мой милый. Я думал, что несу на плечах весь мир.

Тогда мальчик ему сказал:

— Тут нет ничего удивительного, Христофор, потому что ты нес на руках Того, Кто этот мир сотворил. Я твой Господь, Иисус Христос. Я тот Распятый и Воскресший, которого ты искал.

Тогда Христофор поклонился Ему до земли и сказал:

— Верую, что Ты воистину воскрес.

МУЧЕНИЦА АНАСТАСИЯ

Рассказ этот вполне достоверный, потому что записал его сам блаженный Иаков из Воража. Нам посчастливилось достать в Болонье неизданный до сих пор латинский список некоторых глав из сочинения этого автора, замечательного как ученостью, так и праведностью своей жизни. Наш текст, хотя и подробнее опубликованного ранее, но в существе своем не противоречит ему.

Анастасия, как известно, жила по времена Диоклетиана и принадлежала к одному из знатных семейств императорского Рима. Она была воспитана в христианской вере своею матерью Фантастою и блаженным Хризогоном. Будучи выдана замуж против своей воли за известного Публия, она притворилась немощною и отказалась от брачной жизни, Но Публий был человек решительный и, так как он не мог примириться с мыслью, что столь прекрасная женщина увядает без ласк и наслаждений, необходимых, по его языческим понятиям, для удовлетворения естественных желаний души и тела, а, с другой стороны, так как он сам питал к ней нежные и страстные чувства, то он и принял некоторые меры, чтобы узнать, в чем дело, и убедиться по крайней мере, что у прекрасной Анастасии нет вероломного любовника. Публий окружил жену свою шпионами и, спустя несколько дней, вот что ему донес один из вольноотпущенников, следивших за Анастасией.

— Господин! — сказал хитрый и настойчивый шпион, которому Публий обещал немало денег за его гнусные услуги. — Вчера под вечер заметил я, как некая женщина, одетая весьма бедно, появилась на северной крытой галерее твоего дворца и спустилась вниз, где водоем с изображением двух нимф и фавна. Ты думаешь, господин, что я пренебрег этою нищенкою, занятый всецело твоим поручением? В том то и дело, что у меня верный глаз, и я под жалким рубищем всегда угадаю стан патрицианки. «Такие плечи, — подумал я, — и такая поступь у одной лишь бого-

равной Анастасии». Что мне было делать? Разумеется, я пошел за нею в надежде застать прекрасную госпожу на свидании с любовником.

— Подумай, что ты говоришь, негодяй! — закричал Публий. — Ты, хотя и вольноотпущенник, но я не стану церемониться с тобою и ты узнаешь плетку, как последний раб. Судись со мною потом, если хочешь. У моей жены не может быть любовника!

— Не гневайся, господин, — хладнокровно ответил Публию шпион. — Неужели ты думаешь, что я позволил бы себе выразиться так о твоей супруге, если бы она была в самом деле виновна в прелюбодеянии? Нет, господин, если твоя жена совершила преступление, то, во всяком случае, оно совсем иного рода.

— Говори! Говори! — хмурясь, молвил Публий и пригнулся слушать.

— Я пошел вслед за госпожою, — продолжал вольноотпущенник, ничуть не смущенный грозным видом своего собеседника. — Мы шли по темным улицам довольно долго, госпожа не замечала меня. Я держался на расстоянии десяти-пятнадцати шагов и медлил за каждым углом, боясь поспешностью испортить все дело. Мы миновали Колизей и форум, и я с изумлением заметил, что госпожа направляется в сторону самого грязного квартала, где начинается Аппиева дорога. На одном из перекрестков к ней подошли какие-то люди — две девушки и один старик, совсем дряхлый, давно уже забывший, должно быть, любовные приключения и страстные желания. Так, вчетвером, они торопливо шли куда-то. Признаюсь, я был изумлен, что прекрасная Анастасия, такая изнеженная роскошью и, как я думал, утомленная утехами Рима, в состоянии идти так долго. Взошла луна. Ты представляешь себе, господин, как странно было мне следовать по пятам за госпожою, которая очутилась в обществе, едва ли ей подходящем. Порою мне чудилось, что пинии, тополи, акведук и редкие хижины поселян — лишь сон, навеянный каким-нибудь магом, и что я иду не под Римом, а где-то в варварской стране, не чуждой колдовства. Я перестал сомневаться в том, что злые чары мною

овладели, когда госпожа и ее загадочные спутники остановились на миг у груды камней, сваленных при дороге, оглянулись по сторонам и вдруг исчезли, как будто это были не люди, а призраки. Но я вспомнил о тебе, господин, о данном тобою поручении. Тотчас же, преодолев страх, я последовал за теньями, скрывшимися в камнях. Там оказался едва заметный вход под землю. В конце темного коридора мерцали огни, и я пошел на них, сдерживая невольную дрожь. Заметив, что, входившие обменивались с привратниками какими-то ритуальными знаками и приветствиями, я последовал примеру прочих и меня пропустили беспрепятственно во внутренние подземные покои. Что я увидел там? Там были сотни граждан и матрон, рабов и рабынь, варваров и — ужасно сказать — римских патрициев, чья кровь не менее благородна, чем твоя, о, славный Публий. И все эти люди пели. Я не слышал таких песен до этого странного ночного бдения. Под землею, очевидно, голоса людей совершенно меняются. Я худо разбирал, о чем они поют. Кажется, в этих песнях они упоминали о божестве, который принесен был в жертву. Вероятно, они пели о Вакхе или о Дионисе-Загревсе, которого растерзали титаны, как верят греки. Но глаза у этих людей сияли так странно, как будто бы дело шло не о поэтическом мифе, а о жертве какого-то существа, в самом деле ими любимого и недавно еще жившего среди них...

— Довольно. Ступай, — перебил Публий вольноотпущенника. — Ты получишь обещанное тебе золото. Ступай и молчи. Молчи. Понимаешь?

На другое утро Публий призвал к себе жену и сказал:

— Мне все известно. Ты по ночам посещаешь собрания восточных варваров и участвуешь в их грязных культах. Разумеется, ты невинна и сделалась жертвою обмана. Я, как человек, близкий к императору, очень хорошо знаю, какие цели преследует это преступное сообщество. Все эти ритуальные действия и таинственные собрания заключают в себе угрозу «Римскому Миру». Ты, как матрона, должна уважать императорскую власть и наш незыблемый порядок. У нас есть Пантеон, и ты можешь молиться там, кому угодно, но

не надо простую веру и простое благочестие делать орудием мятеха. Прелестная Анастасия! Подобаает ли тебе участвовать в замыслах, столь недостойных? Я очень хорошо знаю верования этих поклонников Ослиной Головы. Прежде всего, они употребляют человеческую кровь с ритуальными целями...

— Это неправда! — воскликнула бедная Анастасия.

Но Публий продолжал:

— Я все знаю. Однако, я не буду строг с тобою. Ты ведь до сих пор пользовалась всем, что тебе угодно было, хотя я был лишен твоего естественного ко мне расположения. Я верил в то, что ты в самом деле больна, и покорно удовлетворял свои желания не на брачном ложе, а в лупанариях. Теперь я понимаю, что ты уклонилась от брачной жизни по религиозным убеждениям, ложным и суеверным. Я не буду строг, однако. Живи со мною, как подобает честной жене жить с мужем, не уклоняясь от объятий, и все будет по-старому. Только, разумеется, ты не будешь посещать преступного сообщества.

— Прости меня, Публий, но я не могу разделить с тобою ложа, — отвечала Анастасия.

Публий чрезвычайно разгневался. Однако, он постарался утаить свое волнение и пошел в сенат, полагая, что государственные дела важнее, чем дела семейные.

В это время Публию было пятьдесят лет. Он уже успел расстратить до женитьбы свои силы, духовные и телесные, и немудрено, что семейное горе повлияло на его здоровье. В сенате он почувствовал себя дурно. У него начался припадок сердцебиения, а когда рабы несли его домой на носилках, он успел воскликнуть дважды: «Анастасия! Анастасия!» — и тотчас же умер.

Шпион после смерти Публия пришел к Анастасии и потребовал от нее золота, а также обладания ее телом в течение трех ночей, угрожая, в случае отказа, донести императору об ее участии в преступном сообществе.

Анастасия отказала ему. Тогда вольноотпущенник донес императору об ее предосудительном поведении. Диоклетиан не пожелал прибегнуть к суровым мерам и отказался

от мысли подвергнуть жестокой каре прекрасную патрицианку. Он предпочел выдать ее замуж за префекта Анния, который отличался большой образованностью и приверженностью к стоической философии. Диоклетиан надеялся, что авторитет этого почтенного человека излечит Анастасию от суеверия и заблуждений. Прежде чем жениться на прелестной вдове, Анний неоднократно беседовал с нею на философские темы, приводя изречения Сенеки и Марка Аврелия. Она во многом согласна была с этими мудрецами. Она предупредила, однако, своего нового жениха, что неспособна к брачной жизни. Анний удивился, но, как и подобает стоику, постарался скрыть свое удивление и смущение.

Он сказал:

— Марк Аврелий учил: «Люди молятся нередко: “Хорошо бы добиться обладания вот этою женщиною”. Ты же молишь: “Хорошо бы не желать обладания ею”. Что ж? Я последую мудрому совету. Мы будем жить, как брат с сестрою. Что касается твоих религиозных убеждений, то я постараюсь переубедить тебя, и ты сама откажешься от наивных верований этих восточных варваров.

Но и этот брак окончился несчастьем.

Рассуждения Анния казались Анастасии неубедительными вовсе. В душе ее была иная правда, которая постигается сердцем, а не рассудком, как бы изощрен он ни был.

А между тем, Анний, несмотря на данное обещание целомудрия, нередко входил на правах мужа в спальню Анастасии и любовался ее прелестною наготою, хотя она и умоляла его не делать так.

Он возражал:

— Ты видишь, я не разделяю с тобою ложа, а то, что я, созерцая твою красоту, остаюсь все-таки как бы безбрачным, свидетельствует о том, что я стоик и в жизни, не только в философии.

Однако, Анастасия видела, как блестят глаза этого человека и как дрожат его колени от страсти, когда он смотрит на ее плечи или грудь.

Тогда Бог, желая избавить свою верную дочь от искушения и стыда, навел слепоту на Анния.

И Анний, отчаявшись и отвергнув доводы благоразумия, в ванне выпустил кровь из вены и тихо скончался, повторяя имя Анастасии, подобно первому ее мужу.

Об этом донесли Диоклетиану, и тогда он решил выдать замуж Анастасию за претора Октавия, человека, равнодушного к очарованиям женщин. Этот претор был в близких отношениях с одним из юных и знатных всадников, и навязанный ему брак с Анастасией был весьма ему неприятен.

Чтобы избавиться от нее, он сам настаивал на том, чтобы судили Анастасию. Она была брошена в тюрьму. Спустя некоторое время ее сожгли на костре. Рассказывают, что, когда огонь обжигал ее колени, появился какой-то, никому не известный, прекрасный человек в белой одежде, который приблизился к костру, взошел на него и приник своими устами к устам Анастасии. Народ изумился. Это был первый и последний поцелуй, изведенный на земле мученицей Анастасией. Человек в белой одежде исчез внезапно, и некоторые утверждали, что он вознесся на небо.

ПОСРАМЛЕННЫЕ БЕСЫ

I

У св. Анастасии было три благочестивых служанки. Одну звали Агапетой, другую Феонией и третью Иреною. Они были столь же добродетельны, сколь и прекрасны.

Старшая, Агапета, который было уже двадцать лет, отличалась необыкновенным трудолюбием и всегда работала за других, стараясь облегчить участь своих сестер и братьев во Христе. Но, несмотря на труд и строгий пост, она цвела здоровьем и розы горели всегда на ее щеках. У нее были такие длинные косы, что она могла бы, распустив их, окутать волосами все тело. Средняя, Феония, удивляла всех своею ревностью в молитвах. У нее был сладостный голос, и когда она пела псалмы, казалось, что поют ангелы, славя Бога. Младшая, Ирена, которой было тогда всего лишь тринадцать лет, воистину была чиста, как лилия полевая. Если бы не свет Христов, который все очищает, ее нежная красота и стыдливая улыбка могли бы соблазнить, пожалуй, немало юношей и старцев. Одна была у нее защита — верность Закону Божию.

Но все-таки нашелся негодяй, который возжелал обладать девственницей, а также и прелестными ее сестрами. Такая безумная любовь к трем благочестивым девушкам была внушена префекту Сульпицию по явным проискам дьявола и его гнусных слуг.

Мечтая удовлетворить свою страсть, но не решаясь действовать открыто, префект обвинил трех девушек в заговоре против властей и, вместо тюрьмы, назначил им для предварительного заключения кухню в собственном доме. Само собою разумеется, что руководили префектом многоопытные бесы. Тем не менее, Господь посрамил их.

Ночью, когда взволнованные и трепещущие девушки остались в кухне, превращенной так неожиданно в место заточения, к ним пришел префект. Несмотря на естествен-

ный в их. положении испуг, все три девицы — Ирена, Феония и Агапета — не поколебались в своей вере и не потеряли надежды на сохранение девственности. И ангел, охраняющий праведниц, помрачил рассудок префекта.

Тогда произошло вот что.

Префект, пробравшись в кухню, в припадке умоисступления принял за девственниц кухонную утварь. Большую сковороду, на которой днем жарили рыбу, он принял за черноволосую Агапету, звякнувший в темноте медный котел за звонкоголосую Феонию, прозрачный сосуд для вина за нежную Ирену.

С дикою страстью набросился префект на эту утварь, не замечая девушек, которые с изумлением и отвращением смотрели на грубые проявления низменной похоти.

Он был ужасен — весь измазанный сажею, в разодранной одежде и с окровавленным лицом, ибо осколки стеклянного сосуда изранили его губы.

Когда утром он появился в таком виде перед своими домашними и слугами, все приняли его за одержимого злым духом и не узнали в нем префекта. Его собственные рабы не скупилась наносить ему удары. А когда он выбежал на улицу, мальчишки бросали в него комья грязи. Наконец, очнувшись, он понял свое заблуждение, но истолковал все то, что произошло, как следствие колдовства, которым будто бы воспользовались три девственницы. Тогда, желая им отомстить, он призвал их и повелел своим слугам сорвать с них одежды, дабы он мог насладиться видом их наготы. Но одежды приросли к их телу, так что невозможно было их снять, а сам префект впал мгновенно в такой глубокий сон, что никто не мог его разбудить.

Впоследствии все три праведницы приняли венец мученический.

II

Вот еще один рассказ о посрамлении бесов. Однажды Макарий шел по дикой пустыне. Наступила ночь и праведник

решил отдохнуть, но не было вокруг человеческого жилья, и лишь пирамида, где язычники хоронят своих мертвецов, привлекла его внимание. Тогда Макарий вошел в усыпальницу и расположился отдохнуть, воспользовавшись одною из мумий, как изголовьем.

Бесы, мечтавшие смутить покой праведника, стали вопить из мумий. Так, один бес, обращаясь к покойнице, закричал:

— Вставай скорей. Пойдем с нами в баню,

Другой бес, вошедший в мертвое тело женщины, тонким голосом отвечал:

— Не могу встать. Какой-то варвар расположился тут и спит.

Очевидно, бесы хотели напугать Макария, но Господь научил его, как надо поступать с искушавшими его демонами, и праведник, поднявшись, трижды ударил мумию, воскликнув:

— Вставай и убирайся, если можешь.

Услышав это, бесы убежали, крича:

— Господин! Ты нас победил.

Преподобный Макарий отличался вообще большим мужеством в борьбе с дьяволом.

Так, однажды он увидел пастушку Хлою, пятнадцатилетнюю девушку, очень стройную, с рыжими и потому похожими на золото волосами. Она ему напоминала другую Хлою, в которую он был влюблен в дни своей юности, когда он еще не знал Господа нашего Иисуса Христа и догматов верной Ему Церкви. Такое совпадение показалось Макарию подозрительным, и он легко догадался, что Хлоя вовсе не Хлоя, а бес, принявший образ обольстительный и опасный.

Мнимая Хлоя, сохраняя невинный вид, мыла ноги в ручье, когда Макарий встретил ее на своем пути. Разумеется, преподобный хотел тотчас удалиться, дабы не видеть наготы этой пятнадцатилетней девицы, чей образ внезапно напомнил ему его небезгрешную молодость, но удалиться он, к несчастью, не мог, потому что бесы в немалом количестве бросились и повисли у него на ногах, мешая ему ис-

полнить то, что повелевала ему сделать его христианская совесть. Но и это не удовлетворило коварства сатаны. Он захотел во что бы то ни стало смутить сердце праведника. Поэтому он послал самого маленького беса, какой только был в его распоряжении, с тем, чтобы он забрался в рот Макарию и, направляя его язык, побудил святого говорить такие вещи, каких не было у него на уме.

И в самом деле, Макарий произнес несколько слов, не соответствующих вовсе его достоинству отшельника.

Так, например, он сказал:

— О, Хлоя! Ты снилась мне не раз в моей одинокой келье.

Дьявол в образе Хлои улыбался, когда Макарий, побуждаемый бесом, говорил так.

Потом Макарий сказал:

— О, Хлоя! Помнишь ли ты, как я целовал твои ноги!

Конечно, говорить так было во всяком случае неразумно, потому что Макарий, которому было около ста лет, никак не мог целовать ноги этой самой Хлои: ведь той Хлое, которую Макарий знал в дни своей юности, было теперь, очевидно, тоже около ста лет; но бесы, даже самые коварные, не считаются со здравым смыслом.

Однако, несмотря на коварство темной силы, Макарий преодолел искушение и перехитрил дьявола.

Произошло это таким образом.

Дьявол устами Хлои сказал:

— Поди ко мне, старик. Вытри, пожалуйста, мои ноги твоею бородою. Она у тебя такая длинная.

Макарий сделал вид, что согласен исполнить волю рыжеволосой девушки, но лишь только он приблизился к ее ногам и бесы возликовали, полагая, что теперь уже преподобный в их руках, случилось то, чего дьявол не ожидал.

Макарий, нагнувшись, укусил Хлою за ногу и, стиснув зубы, держал ее так до тех пор, пока дьявол не пообещал ему избавить его от искушений.

Так Макарий и на этот раз посрамил сатану.

III

Про того же Макария рассказывают, что он имел обыкновение, внезапно закрестив угол кельи, ловить таким образом бесовское отродье, поджидавшее удобного случая для искушения преподобного. Застрав в углу, под крестом, изнывали и томились бесы, а Макарий читал над ними псалмы или подолгу укорял их за отступничество и за коварство.

Так однажды поймал Макарий крупного беса, который, чтобы обмануть бдительность святого, принял вид Вакха или Диониса, а вся его свита обратилась в менад. Стены кельи как будто исчезли. Перед глазами Макария открылась поляна среди дубовой рощи, и Дионис, влекомый жрицами, проливал на жертвенную землю свою кровь. Сатана сказал Макарию:

— Это — бог. Ты видишь, он принес в жертву самого себя. Не уклоняйся от этого древнего откровения. То, что сказано в Евангелии, правда, но это не полная правда. И твой Учитель не единственный. И не один Он принял смерть за мир.

Но Макарий не поверил сатане и, схватив тяжелый, из дуба сделанный табурет, ударил им по голове дьявола, укрывшегося в обольстительном образе Диониса.

О ТОМ, КАК ПРЕП. ПАВЕЛ РЕШИЛ УДАЛИТЬСЯ В ПУСТЫНЮ И КАК СВ АНТОНИЙ ХОДИЛ К НЕМУ НА СВИДАНИЕ

По свидетельству св. Иеронима, преподобный Павел, имя которого празднуется пятнадцатого января, был первым отшельником, удалившимся в пустыню ради строгого и совершенного уединения.

Вот случай, побудивший его принять такое решение.

Это было в те дни, когда правил жестокий Деций и гнал беспощадно христиан. Однажды он приказал схватить двух юношей, веривших в Господа нашего Иисуса Христа и в Пречистую Деву, Его Мать.

Одного из этих юношей злой Деций повелел привязать к столбу и вымазать медом, дабы мухи, осы и пчелы мучили его своими укусами.

Павел видел эти мучения юноши, оставленного так в открытом поле под знойным солнцем, видел и содрогался. Но еще более смутили его муки другого юного христианина.

Вот что повелел сделать с ним безумный Деций.

Этого юношу, прекрасного телом и лицом, раздели донага, привязали крепко скрытыми в гирляндах роз канатами к мягкому ложу и поставили его в благоуханной роще, у ручья, под сенью пальм. Коварный тиран, зная целомудрие стыдливового и невинного юноши, повелел призвать куртизанку Ирену, которая славилась своею красотой и порочностью. Несмотря на то, что в рощу явилось немало народу, и толпа, жаждущая необычайных зрелищ, окружила мученика тесным кольцом, знаменитая блудница стала расточать юноше нежные слова, соблазняя его на грех. Тиран повелел ей раздеться, и она, обнажив свое прелестное тело, старалась увлечь юношу, возбуждая в нем естественную чувственность, которую он преодолевал с Божьей помощью.

Ирена же, восплавав преступной любовью к мученику, не скупилась на ласки, нескромные и сладострастные, сму-

щая тем даже порочную и во грехе искушенную языческую толпу. Юный мученик терпел эти страдания до тех пор, пока не почувствовал, что, против желания его, в нем просыпается вожделение. Тогда он, не имея оружия для защиты, откусил собственный язык и выплюнул его прямо в лицо красавице, благосклонность которой покупали патриции за мешки золота.

Пораженный мужеством и удивительным целомудрием этого юноши, Павел ушел в пустыню, мечтая в уединении укрепить свои духовные силы.

Как известно, он прожил в пустыне шестьдесят лет и до последних дней своих не устал бороться с искушениями плоти и с дьяволом, являвшимся ему нередко в образе куртизанки Ирены. Павлу мерещилось, что он юноша и что блудница увлекает его на путь очарования и гибели.

В это время св. Антоний тоже решил удалиться в пустыню для борьбы с дьяволом. Он думал, что ему первому открылась правда отшельничества. Но ангел явился ему во сне и рассказал ему о Павле. Тогда Антоний пошел искать его. Путешествие было нелегкое, исполненное всяких неожиданностей. Так, прежде всего он, заблудившись, встретил в лесу раненого кентавра, которому он перевязал поврежденную ногу, и это дикое существо, почувствовав благодарность к доброму человеку, показало ему дорогу.

На другой день на опушке рощи он увидел сатира, одно из тех странных лесных созданий, которые почитаются язычниками за богов. Этот козлоногий лентяй валялся на траве и ел финики. Антоний, приблизившись, приветствовал его и тот, в свою очередь, любезно предложил путнику горсть фиников. Они разговорились. Беседовали погречески. Антоний удивился, когда козлоногий обнаружил некоторые человеческие познания. У святого были превратные понятия об этих существах, которые не так уж чужды нашим привычкам и вкусам. Сатир даже процитировал строфу из Алкея. Оказывается, одна горожанка, заблудившаяся в этой роще, провела с ним трое суток, и это из ее уст услышал он сладкую речь поэта.

Антоний собирался было внушить козлоноготому правиль-

ные представления о мире, Боге и нравственности, как вдруг сатир потерял мгновенно все, что было в нем человеческого. Нижняя губа у него отвисла, все тело, дрожа, стало каким-то упругим и напряженным; взрыв землю копытами, он бросился опрометью в кусты, где журчал ручей.

Недоумевая, праведник стал прислушиваться к тому, что происходило в густой листве на берегу. Антоний подумал, что сатир занялся охотой, поймал какого-то зверька и, может быть, желает угостить мясом путника. Тогда преподобный поспешил в кусты в надежде убедить сатира не вкушать скоромного. Но едва Антоний раздвинул густой орешник, перед ним открылась картина неожиданная. На земле валялась полуобнаженная нимфа и отбивалась с легким стоном от нескромных ласк козлоногого. Антоний догадался, что у сатира нехорошие и грешные намерения. Поэтому он тронул его за лохматое плечо, стараясь отвлечь сладострастника от предмета его вожделения. На миг это ему удалось и, сев на корточки, сатир с изумлением смотрел на преподобного, не понимая, что, собственно, ему надо.

— Я вижу, вы хотите предаться телесным наслаждениям, — сказал Антоний мягко. — Но могу вас уверить, что вечное благо зависит, напротив, от воздержания, а необузданная похоть влечет всех нас к гибели. Кроме того, эта прекрасная девушка, по-видимому, вовсе не желает земных утех, и я охотно проводил бы ее к одному моему знакомому епископу, который научил бы ее истинам веры и — почем знать, — быть может, она взяла бы на себя сладостное иго отшельничества. А это уже совсем хорошо: не то, что преходящая и сомнительная радость чувственных объятий.

— Я тебе дал фиников, — сказал сатир сердито, — а ты вот вмешиваешься не в свое дело. Уходи скорее, а то я тебя забодаю.

Это огорчило Антония. Но еще более он смутился, когда заметил, что нимфа схватила сатира за бороду и тянет его к себе. Из этого можно было заключить, что она стонала притворно и, как это ни странно, ей вовсе не были неприятны грубые ласки, которые расточал ей козлоногий.

Тогда святой Антоний, отчаявшись, махнул рукою и по-

шел искать преподобного Павла.

Ему удалось найти его без большого труда, но тут произошло недоразумение.

Преподобный Павел, слышав шаги, вообразил, что это идет к нему куртизанка Ирена или какая-нибудь другая блудница и, испугавшись, поспешил запереть дверь своей кельи.

Тщетно уверял Антоний, что он ищущий правды Христовой и притом мужчина и что он не хочет соблазнить Павла, а совсем напротив, желает приобщиться его мудрости.

Наконец, Господь внушил Павлу доверие к голосу Антония. Отшельники радостно обнялись и тотчас же начали беседовать на возвышенные темы. Когда наступил час завтрака, ворон принес им хлебец. Павел предложил Антонию разделить его пополам. Антоний сказал, что он недостойн первый преломить хлеб. Так дружески они препирались долго, пока, наконец, не взялись вместе и одновременно его не разломали.

Несколько дней пребывал Антоний у Павла, учась искусству мудрого жития.

Павел объяснил Антонию, какие бесы чем заведуют и как с ними надо сражаться. Между прочим, когда Антоний жаловался на искушение плоти, Павел ему сказал:

— Надо смириться и надеяться. Вот мне сто первый год, а я в прошлом году еще неоднократно был искушаем женскими прелестями, но теперь, слава Богу, почти освободился от этих злых чар. Значит, не надо отчаиваться.

Эти мудрые слова очень утешили Антония.

Простившись и поблагодарив Павла, он удалился. По дороге он опять наткнулся на сатира и нимфу, но это был уже другой сатир и другая нимфа. Прелестница кричала и звала на помощь. Антоний хотел было помочь ей, но, вспомнив бывший с ним ранее случай, опустил голову и поспешил домой.

Он теперь знал, — и Павел подтвердил это, — что козлоногие и нимфы свободны от законов человеческой совести. Павел даже сказал Антонию, что, вероятно, Господь отпускает этим лесным существам то, чего никак нельзя простить обыкновенным людям.

АГНЕСА

Агнесе было тринадцать лет, когда она, покинув смерть, обрела жизнь.

Она была молода, но ум и душа ее были зрелы. И наружность ее была прекрасна, но сердце еще прекраснее.

Однажды в полдень она возвращалась из школы, размышляя о Божественном промысле. Внутренний свет озарил ее. В этот час ее встретил молодой человек, сын префекта, Гораций, который, между прочим, писал стихи, хотя и не такие искусные и значительные, как великий Гораций, но все же достойные внимания.

Юный поэт был очарован прелестною Агнесою.

«Это — одна из муз сошла на землю, — подумал он, — не Эрато ли? У нее такая мечтательная и такая задумчивая улыбка. Или, быть может, это Эвтерпа? У нее такой мелодичный голос. Или сама Мельпомена? У нее такие трагические глаза... Впрочем, все эти мифы едва ли достоверны, но прелести этой девицы так очевидны, что она, пожалуй, не нуждается в сравнении с дочерьми Юпитера и Мнемозины».

Юный поэт вскоре нашел случай познакомиться с Агнесой и тотчас же открыл ей свои чувства. Этот молодой человек, хотя и был эпикурейцем по своим философским убеждениям, а по рождению — язычником, отличался, однако, добрым мужеством и пламенной душою. Поэтому он очень понравился благочестивой Агнесе. Но она не забыла своего обета, данного ею внутренне и безмолвно в час, когда она познала тайну искупления.

Вот почему она сказала поэту:

— Я не могу быть твоею женою, Гораций, но я охотно стала бы считать тебя моим братом.

— О, прелестная Агнеса! — воскликнул молодой человек. — Твоя скромность понятна мне, но тем милее ты моему сердцу. Поверь, что моя любовь, пламенная и страстная, сочетается с братскою любовью, о которой ты говоришь. Ты

будешь моею женою, Агнеса, и утолишь муки моей страсти, а я не устану быть с тобою нежным до конца моих дней.

— Друг мой, — отвечала ему Агнеса. — Поверь, что страсть ведет нас не к жизни, а к смерти.

— То, что ты говоришь, загадочно и неясно, — сказал Гораций. — Ты уклоняешься от любви моей, потому что, признайся, — у тебя есть другой жених. Он, быть может, благороднее, доблестнее и даровитее меня. Скажи мне откровенно, Агнеса.

— Да, у меня есть жених, — сказала Агнеса, думая об Искупителе. — Он благороднее, чем ты, Гораций; солнце и луна славят Его красоту; Его богатства — безмерны; Он властен воскрешать мертвых и Его любовь превыше любви человеческой. Он надел перстень на мой палец; Он украсил меня драгоценными камнями и облек меня в златотканую одежду; Он сделал знак на моем челе, чтобы никому, кроме Него, не дарила я моей любви, и Он окропил мои колени Своею кровью. Я предалась Его нежности, и мое тело соединилось с Его телом...

Услышав это, молодой человек впал в уныние, и жестокое отчаяние им овладело.

— Где он, этот мой соперник, и как его зовут? — спросил он Агнесу, чувствуя, что любовь сжигает ему сердце.

— Он — везде. И не только слова, но даже помыслы наши Ему известны.

— О ком ты говоришь? Что это значит, что твой жених везде? Даже боги не могут быть одновременно в разных местах. Правда, философы учат о божестве, которое мы, люди, представляем себе как начало отвлеченное, но в таком случае я отказываюсь тебя понимать, когда ты говоришь о теле твоего возлюбленного.

— Друг мой, — отвечала Агнеса тихо, но внятно, — я не кончила еще школы и совсем не слушала философии. Могу ли я так тонко рассуждать, как ты, не изучив предварительно логики и не будучи искусной в диалектике? Вот почему я не смею с тобою спорить. Однако, никакие рассуждения не могут поколебать моего знания. Я знаю, дорогой Гораций, что жених мой не дух только и не отвлечен-

ное начало, потому что я люблю Его так, как будто бы я касалась Его колен, как будто бы я благовонным миром умастила Его ноги когда-то; я вижу глаза Его, как вижу сейчас твои; я слышу Его дыхание, которое смешивается с моим дыханием... Прости меня, Гораций, но я скорее буду сомневаться в том, что ты в самом деле живой человек, что ты не призрак, не бред мой, чем в существовании моего Дивного Жениха.

— Прекрасно, — возразил молодой человек. — Прекрасно. Я верю, что твой жених не бестелесный дух. Тогда назови его имя. Пусть сама судьба решит, кому ты будешь принадлежать: ему или мне.

Агнеса молчала. Тогда Гораций, ослепленный любовью, воскликнул в гневе:

— Я убью дерзкого соперника.

— Ты не можешь этого сделать, — прошептала Агнеса, огорченная безумными словами юноши.

— Почему ты думаешь, что я не могу убить его? — спросил Гораций, недоумевая и сердясь.

— Ты не можешь этого сделать, потому что жених мой смертью победил смерть...

— А! — перебил ее нетерпеливый юноша. — Я теперь знаю, о ком ты говоришь. Это, вероятно, один из тех магов, которых восточные варвары считают полубогами. Но поверь, что все эти таинственные слова о смерти-победительнице не спасут моего соперника от меча. Впрочем, быть может, он не римский гражданин. В таком случае, он даже меча недостойн.

Стараясь, под видом презрительного равнодушия, скрыть мучения любви, удалился Гораций. Но дома он уже не мог утаить от отца своих страданий.

Старый префект, узнав правду об отвергнутой любви его сына, вознегодовал. По его понятиям, такая девушка, как Агнеса, должна радоваться благосклонности молодого человека, благородного и образованного, богатого и красивого. Он считал себя диалектиком и ритором и был уверен, что, если он поговорит с девушкой, она не решится отказать его сыну и выйдет замуж за Горация.

Переговорив предварительно с родителями Агнесы, людьми, не просвещенными истинною верою и потому легко согласившимися на предложение префекта, старик призвал девушку и сказал ей:

— Кто этот загадочный жених, о котором ты говорила моему сыну?

— Этой тайны я тебе не открою, — отвечала спокойно Агнеса, предчувствуя, что префект замыслил дурное.

Но префект был настойчив, и у него немало было сведений о галилейской секте, в коих он не сомневался, хотя они не совпадали с истиною.

— Я знаю, — сказал он, — ты считаешь своим женихом одного демагога из Иудеи, распятого при Пилате. Но оставь эти фантастические сказки детям и будь благоразумной. Необразованные варвары суеверны, и, разумеется, им нетрудно было внушить нелепую мысль о том, что кто-то воскрес из мертвых. Поверь, прелестная Агнеса, что никто и никогда не воскресал из мертвых. Там, в Тартаре, блуждают печальные тени, припоминая с трудом очарование земли. Эти тени не вернуться на землю. Впрочем, недостоверно даже, что мы, люди, сохраним наше подобие в подземном мире. Вернее всего, мы истлеем, и наше тело, даже такое цветущее и нежное, как твое, утолит голод алчущих червей. Вот и все. Что до богов, то, если они существуют, им нет до нас никакого дела. Они блаженствуют в иных сферах, нам чуждых. Да и зачем они нам? Счастье мы можем обрести и без них. Ты знаешь пять сократических добродетелей — мудрость, справедливость, умеренность, храбрость и благочестие. Последняя добродетель относится, по-видимому, к почитанию небожителей, это — правда. Но легко догадаться, что такое благочестие необходимо нам для упражнения нашего собственного духа в созерцании возможных совершенств. Существуют боги или не существуют, это — безразлично: важно, что мы имеем образцы блаженной жизни...

Так долго рассуждал отец Горация, стараясь соблазнить Агнесу доводами своей философии и цитируя при этом изречения Эпикура, которые он заимствовал из сочинений Лукреция, Цицерона, Плутарха и Секста Эмпирика.

Но ему пришлось убедиться, что его красноречие и диалектика не производят желанного ему впечатления на прекрасную Агнесу.

Тогда, стараясь скрыть свой гнев, он спросил девушку:

— Итак, ты не откажешься, выслушав мои мнения, разделить с сыном моим, Горацием, радости бытия. Презрев суеверные басни, ты найдешь счастье в брачной жизни и не станешь уклоняться от судьбы, предназначенной женщинам.

— Нет, — сказала Агнеса, — у меня не будет мужа.

— Как! — возразил префект. — Ты отвергаешь моего сына? Но знаешь ли ты, что я могу обвинить тебя в государственной измене, и тогда сам закон отомстит за меня?

Но и эта угроза не повлияла на Агнесу. Тогда префект, усмехаясь, сказал:

— Я знаю два случая, когда девушка, уклоняясь от брачной жизни, тем не менее приносит известную пользу миру. Первый случай — это когда она дает обет целомудрия, дабы служить у алтаря богини Весты. Второй случай — это, когда она, напротив, не щадит своей молодости и красоты, расточая ласки всем, кто пожелает ею обладать. Алтарь Весты или лупанарий — иного благоразумного пути нет для той, которая бежит брачного ложа. Не угадал ли я твоих намерений? Не желаешь ли ты быть весталкою?

— Под личиною Весты скрывается недобрый демон, — сказала Агнеса, — лучше я умру, чем послужу нечистой силе.

— Вот как! — топнул ногою префект, забывший на миг совет мудрого Лукреция. — Ты не хочешь быть весталкою! В таком случае, сейчас же ты будешь в лупанарии!

Префект исполнил свою угрозу. Вечером вошли в дом Агнесы рабы и повлекли Агнесу в дом разврата, как им повелел префект. По дороге они сорвали с девушки одежды и втолкнули ее в лупанарий.

Там заперли ее в отдельную комнату и ждали новых приказаний префекта.

А между тем, в тот миг, когда рабы сорвали одежду с Агнесы, ее белокурые волосы распустились и обвились златотканым платом все тело ее, укрыв наготу.

Ночью ворвалась в лупанарий толпа распутных молодых людей и во главе ее Гораций, совсем пьяный, ибо он, по злему совету отца, выпил много вина, без чего не решился бы оскорбить Агнесу, которую любил.

Но по воле Бога ангел-хранитель стал на пороге комнаты, где томилась Агнеса, и когда порочные друзья Горация хотели войти туда с гнусными целями, они ослепли внезапно, потому что ангел-хранитель поднял свой блистающий меч.

И вот тогда Гораций, охваченный страстью, невзирая на блеск меча, бросился к Агнесе, чтобы овладеть ею, но Бог отдал его во власть дьявола, и дьявол опрокинул его на землю и задушил.

Узнав об этом, префект на коленях умолял Агнесу воскресить сына и, по молитве девственницы, юноша воскрес и стал славить Господа нашего Иисуса Христа.

Так преклонился он перед Соперником своим, Которого не знал до той поры.

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты публикуются по указанным первоизданиям с исправлением очевидных опечаток. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

В примечаниях не освещались общеизвестные имена культурных и исторических деятелей.

На фронтисписе портрет Г. Чулкова работы З. Серебряковой. В оформлении обл. использована работа В. Прушковского.

Издательство благодарит А. А. Степанова за предоставленные сканы ряда журнальных публикаций.

Принятые сокращения:

КП — Чулков Г. Кремнистый путь. М.: [В. М. Саблин], 1904.

ПБ — Чулков Г. Посрамленные бесы. М.: Костры, 1921.

Сочинения — Чулков Г. Сочинения [в шести томах]. СПб.: Шиповник, [1911-1912].

Колонны

КП. Данная миниатюра и следующие четыре рассказа, опубликованные в КП, означены в кн. как «поэмы».

Слово

КП.

Что-то черное

КП.

С. 12. *Viens-tu troubler... Vie* — «Ты здесь затем, чтоб вдруг ужасная гримаса / Смутила жизни пир?». Из стих. Ш. Бодлера «Пляска смерти» (пер. Эллиса).

Стены шатаются

КП.

Разлад

КП.

Сестра

Сочинения. Том первый.

С. 34. ...*Сведенборг* — Э. Сведенборг (1688-1772), шведский мистик, теолог, философ, естествоиспытатель.

С. 36. ...*Ориген был осужден собором* — Ориген Александрийский (Адамант, ок. 184/5 – ок. 253/4) — греческий христианский теолог и философ, выдвинувший доктрину предсуществования душ; в сер. VI в. был осужден императором Юстинианом и Пятым Вселенским собором.

С. 38. «*В час последнего томленья...*» — Чулков цитирует здесь собственное стих. «Я приду в твой терем белый...»

С. 38. «*Запертый сад ... источник*» — Песн. 4:12.

Мертвый жених

Сочинения. Том первый.

С. 42. *«Милый друг ее — мертвец»* — Эпиграф взят из баллады В. А. Жуковского (1783-1852) «Светлана» (1808-1812, опубли. 1813) — второго подражания Жуковского вампирической «Леноре» (опубли. 1774) Г. Бюргера (1747-1794).

С. 44. ...*дигиталис* — гомеопатическое сердечное средство, изготавливается на основе растения наперстянка.

С. 45. ...*Полевой* — фамилии спутников жизни героини «говорящие»: *Полевой* напоминает о литераторе-романтике, журналисте, критике Н. А. Полевом (1796-1846), *Блаватский* — об основательнице Теософского общества Е. П. Блаватской (1831-1891) и, видимо, строится по контрасту, т. к. этот художник в новелле Г. Чулкова отвергает «всякий мистицизм».

С. 47. ...в *Эрмитаж* — «Эрмитаж» — развлекательный сад с театрами в центре Москвы, основанный антрепренером Я. В. Щукиным в 1894 г.

С. 53. ...*эклампсия* — болезнь, возникающая во время беременности, родов и в послеродовой период; характеризуется судорогами с высокой вероятностью тяжелых осложнений.

Привидение

Новое слово. 1914. № 6.

С. 56. ...*«Лавсаикон» епископа Палладия* — имеется в виду труд преп. епископа Палладия Еленопольского (ок. 363 – ок. 430) «Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов».

С. 61. ...*Иоанна Кассиана Римлянина* — Иоанн Кассиан (ок. 360 – ок. 435) — христианский монах и богослов, теоретик монашеской жизни, автор ряда сочинений.

Голос из могилы

Аргус. 1914. № 13, позднее с небольшими исправлениями в ПБ. Текст публикуется по ПБ. Илл. И. Гранди взяты из журнальной публ.

С. 64. ...*Христиана Гюйгенса* — Х. Гюйгенс (1629-1695) — физик и астроном. Декарт дружил с его старшим братом Константином.

С. 65. ...*Пироном... Анаксарха* — Пирон из Элиды (ок. 360 – ок. 275 д. н. э.) — древнегреческий философ, основатель скептической школы, в качестве нравственного идеала выдвигал «безмятежность» по отношению к окружающему; Анаксарх — друг Пирона, ученик философа Демокрита.

С. 67. ...*Бернини* — Д. Бернини (1598-1680), итальянский архитектор, ведущий скульптор своего времени.

С. 73. ...*Мэпс... Менделеева* — Перечислены видны учены, которые являлись сторонниками спиритуализма либо изучали спиритические явления.

С. 74. «*La Morte trionfa dell 'uomo*» — «Смерть торжествует над человеком» (ит.).

С. 75. «*Éteignez la bougie!*» — «Погасите свечу!» (фр.).

С. 75. «*Lumière*» — «Свет» (фр.).

Страшный плен

Аргус. 1913. № 10, позднее с небольшими исправлениями в ПБ. Печатается по журнальной публ. Илл. И. Гранди.

С. 89. ...*перевоплощении... Плотин* — античный философ-идеалист (204/5-270), основатель неоплатонизма; его нравственное учение основывалось на признании доктрины метемпсихоза.

С. 91. «*De arte cabalistica*» Рейхлина — «О каббалистическом искусстве» (1517), центральное сочинение немецкого философа, гуманиста и гебраиста И. Рейхлина (1455-1522).

С. 91. «*Equus albus*», «*Doctrina vitae*» ...Сведенборга — Э. Сведенборг (1688-1772) — шведский мистик, теолог, философ, естествоиспытатель; здесь перечислены его труды «Конь блед» (1758) и «Доктрина жизни» (1763).

С. 91. *Эта рукопись включает в себе особые таблицы с изображениями знаков и символов розенкрейцеровского братства... символическое изображение Мировой Души в обличье женщины... эмблематические наименования всех частей тела* — Вероятней всего, описана рукописная копия известной и любопытной кн. *Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert* («Тайные фигуры розенкрейцеров 16 и 17 веков», Altona? 1785-1788?). Первая «фигура» издания изображает нагую «девицу Софию» с соответствующими пояснениями.

С. 94. *Ее мудрость... мужчинами* — В книжной публ. далее следует фраза: «Так иногда истинная *культура* не совпадает по существу с нашей новой *цивилизацией*».

С. 95. ...*Victoriae Regiae* — Точнее, *Victoria regia* или *виктория* амазонская, водное тропическое растение семейства кувшинковых и самая большая кувшинка в мире.

С. 95. ...*арбутус с его обнаженным розоватым стволом* — речь идет о греческом земляничнике или красном земляничном дереве (*Arbutus andrachne*).

С. 95. ...*меон* — в древнегреческой философии одна из разновидностей неоформленного бытия, чистой потенции.

С. 102. ...*Филона...* «*De somniis*» — Имеется в виду еврейский эллинистический философ и богослов Филон Александрийский (ок. 20/25 д. н. э. – ок. 50 н.э.) и его трактат «О снах», сохранившийся в двух книгах.

С. 108. ...*одному из братьев* — В книжной публ. заменено на «одному из посвященных».

Морская царевна

Сочинения. Том шестой.

С. 114. *Esprit-Saint ... mes yeux* — «Святой Дух, свет сердец... Сними покров, что застилает мне глаза» (фр.).

Упырь

Италии: Литературный сборник в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине. [СПб.]: Шиповник, 1909.

С. 124. А. А. *Бел-Конь Городецкой* — Рассказ посвящен А. А. Городецкой (урожд. Козельской, 1889-1945), актрисе, поэтессе, жене поэта С. М. Городецкого (1884-1967). Городецкая увлекалась лубочным «древнеславянским язычеством» и выступала в литературе под псевд. «Нимфа Бел-Конь Любомирская»; именем «Нимфа» пользовалась и в быту.

С. 130. ...*девочка Лилитова. В лунные ночи она встает во сне с постели и бродит...* — Лунатичка *Лилитова* связана с оккультным и распространенным в литературе эпохи образом Лилит; для Чулкова, впрочем, важно лишь напоминание и потому Лилит редуцируется здесь до фигурки бродящей по ночам пансионерки.

Маленький Раух

Сочинения. Том второй.

Возлюбленный Луизы Жели

ПБ.

С. 139. ...«Новая Элоиза» — т. е. роман франц. философа и писателя Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) «Юлия, или Новая Элоиза» (первое изд. 1761).

С. 147. ...*Геро де Сешель* — М.-Ж. Геро (Эро) де Сешель (1759-1794), юрист, прокурор, государственный и политический деятель эпохи Франц. революции.

Кинжал

Альманах артели писателей «Круг». V. М.-Л.: Круг, 1925.

С. 148. *Л. М. Лебедевой* — Л. М. Лебедева — балерина, возлюбленная и корреспондентка Чулкова.

С. 148. *Свободы тайный страж... обиды* — из стих. А. С. Пушкина «Кинжал» (1821?).

С. 151. ...*Николая Ивановича Тургенева* — Н. И. Тургенев (1789-1871) — экономист, публицист, политический деятель, активный участник движения декабристов; был заочно приговорен к пожизненной каторге, жил в эмиграции.

С. 152. ...*Фернейского мудреца* — Фернейский мудрец — прозвище Вольтера.

С. 153. ...*Дидло* — Ш.-Л. Дидло (1767-1837), фр. артист балета и балетмейстер, в 1801-1811 и с 1816 г. жил и работал в России, сыграл выдающуюся роль в истории русского балета.

Судьба

Чулков Г. Люди в тумане: Книга рассказов. М.: Северные дни, 1916.

Как я бежал из тюрьмы

Аргус. 1913. № 8. Илл. В. Сварога.

Фамарь

Сочинения. Том третий.

Демон Асмодей

Сочинения. Том третий.

Христофор

ПБ.

В авторском предисловии к ПБ указано: «Что касается последнего цикла рассказов, то их сюжеты взяты из прославленной книги Иакова из Воража. Первый рассказ служит как бы необходимым введением в эту маленькую тетрадь. В новелле о св. Христофоре автор старался не уклоняться от латинского подлинника и сохранить очаровательную примитивность гениального и простодушного повествователя Золотой Легенды, выдержавшей, как известно, испытания веков».

«Золотая легенда» (Legenda Aurea) — собрание христианских легенд и житий святых, составленный в середине XIII в. доминиканским монахом и церковным деятелем бл. Иаковом Воррагинским (ок. 1228/30-1298), популярнейшая кн. Средневековья.

Мученица Анастасия

ПБ.

Посрамленные бесы

ПБ.

О том, как преп. Павел...

Впервые: Вершины. 1915. № 17. Позднее в ПБ.

С. 229. ...*Деций* — также Деций Траян (ок. 201-251), император Рима в 249-251 гг., преследовавший христиан.

Агнеса

ПБ.

Оглавление

Колонны	7
Слово	8
Что-то черное	12
Стены шатаются	17
Разлад	24
Сестра	33
Мертвый жених	42
Привидение	55
Голос из могилы	64
Страшный плен	88
Морская царица	109
Упырь	124
Маленький Раух	133
Возлюбленный Луизы Жели	139
Кинжал	148
Судьба	178
Как я бежал из тюрьмы	186
Фамарь	203

Демон Асмодей	209
Христофор	213
Мученица Анастасия	218
Посрамленные бесы	224
О том, как преп. Павел...	229
Агнеса	233
П р и м е ч а н и я	239

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.